

1. Есть на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда продерёшься через спутанные лесные заросли, заполненные к тому же крапивой, и присядешь около самой воды, почувствуешь себя как бы в отгороженном от остального земного пространства мире. На самый грубый, поверхностный взгляд, мир этот состоит только из двух частей: из зелени и воды. Но и в воде отражается всё та же сплошная зелень.

Будем теперь по капелькам увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над её руслом ветки, всё же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда ещё самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное — перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня. В следующую долю внимания мы уже различим, что то, что казалось нам просто зеленью, вовсе не просто зелень, а нечто подробное и сложное. И в самом деле, натянуть бы около воды ровную зелёную парусину, то-то была дивная красота, то-то восклицали бы мы: «Земная благодать!» — глядя на ровную зелёную парусину.

Висит над водой старая, чёрная, как уголь, коряга. Отзвенела, отшумела своё. Отдрожала дождевыми каплями на весенних листьях, отсорила в воду ярко-жёлтыми глянцевыми листочками. Угольное отражение её чётко лежит на воде, перерываясь лишь в тех местах, где попадает на округлые листья кувшинок. Зелень этих листьев не может не совпадать, не сливаться с отражённой вокруг лесной зеленью. У черёмух выросли до своей величины будущие ягоды. Теперь они гладкие, жёсткие, всё равно как вырезаны из зелёной кости и отполированы. Листья ракиты повёрнуты то своей ярко-зелёной, то обратной, матовой, серебряной стороной, отчего всё дерево, вся его крона, всё, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым. У кромки воды растут, наклонясь в сторону, травы. Кажется даже, что дальше травы привстают на цыпочки, тянутся изо всех сил, чтобы обязательно, хотя бы из-за плеч, поглядеть в воду. Тут и крапива, тут и высоченные зонтичные, названия которым здесь у нас никто не знает.

Но больше всех украшает наш замкнутый земной мирок некое высокое растение с пышными белыми цветами. То есть каждый цветок в отдельности очень мал и был бы вовсе незаметен, но собрались цветы на стебле в бесчисленном множестве и образуют пышную, белую, слегка желтоватую шапку растения. А так как его стебли никогда не растут поодиночке, то пышные шапки сливаются, и вот уже как бы белое облако дремлет среди неподвижной лесной травы. Ещё и потому невозможно не залюбоваться этим растением, что едва лишь пригреет солнце, как от белого цветочного облака поплывут во все стороны незримые клубы, незримые облака крепкого медвяного аромата.

Глядя на белые пышные облака цветов, я часто думал о нелепости положения. Я вырос на этой реке, чему-то меня учили в школе. Цветы эти я вижу каждый раз, и не просто вижу, а выделяю из всех остальных цветов. А вот спроси меня, как они называются, — не знаю, почему-то ни разу не слышал их названия и от других, тоже здесь выросших людей. Одуванчик, ромашка, василёк, подорожник, колокольчик, ландыш — на это нас ещё хватает. Эти растения мы ещё можем называть по имени. Впрочем, зачем же сразу обобщать, — может быть, один лишь я и не знаю? Нет, кого бы я ни спрашивал в селе, показывая белые цветы, все разводили руками:

— Кто их знает! Полно их растёт: и на реке, и в лесных оврагах. А как называются?.. Да тебе на что? Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить. Нюхать и без названия можно.

Мы вообще-то, я бы сказал, немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле. Нет, нет, конечно, мы часто говорим, что любим природу: эти перелески, и холмы, и роднички, и огневые, на полнеба, летние тёплые закаты. Ну и собрать букет цветов, ну и, конечно, прислушаться к пению птиц, к их щебетанию в золотых лесных верхах в то время, когда сам лес ещё полон темно-зелёной, чёрной почти прохлады. Ну и сходить по грибы, ну и поудить рыбу, да и просто полежать на траве, глядя вверх на плывущие облака. «Послушай, а как называется трава, на которой ты теперь так бездумно и так блаженно лежишь?» — «То есть как это как? Трава. Ну там... какой-нибудь пырей или одуванчик». — «Какой же тут пырей? Тут вовсе нет никакого пырея. Всмотрись повнимательнее. На месте, которое ты занял своим телом, растёт десятка два разнообразных трав, и ведь каждая из них чем-нибудь интересна: то ли образом жизни, то ли целебными для человека свойствами. Впрочем, это уж вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость»

(По В. А. Солоухину*)

* *Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) — русский советский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».*

Проблема: «Как понять истинную красоту природы?»

2. — А можно у тебя спросить, — очень серьёзно говорит папа, — что же это такое ты собираешься делать в жизни? Это не секрет?

— От мамы пока секрет: она взволнуется, заплачет. Ну, понимаешь, женщина... Но от тебя не секрет. И от Павла Григорьевича тоже не секрет. Я бы вам раньше сказала, да тут с утра были твои доктора.

— Так что же ты собираешься делать?

Я не смотрю ни на папу, ни на Павла Григорьевича. Я смотрю мимо них, в пустой угол комнаты, где нечего видеть. Перед моими глазами сверкает золотой султан и переливающееся блёстками платье — среди львов и тигров.

— Я хочу, — и, пожалуйста, не отговаривайте меня, это не поможет! — я хочу быть укротительницей диких зверей... — Это я выпаливаю очень твёрдо. Папа и Павел Григорьевич не переглядываются, не смеются. Папа тихонько барабанит пальцами по одеялу.

— Так... А почему, собственно, тебе это хочется?

— Потому что укротительница смелая. Она — герой!

— Смелая? Да, конечно. Даже очень смелая, это я признаю. И восхищаюсь её смелостью. И всякий признает и восхищается. Но герой? Нет, она не герой. Я смотрю на папу поражённая — я не понимаю: что он, шутит?

— Укротительница зверей — не герой?

— Нет. Не герой.

— Ой, папа, что ты говоришь! Ты вошёл бы в клетку со львами и тиграми?

— Нет. Не вошёл бы.

Я торжествую:

— Вот видишь! А говоришь: она не герой! А сам не вошёл бы! Значит, боишься?

— Конечно, боюсь. Разве я тебе сказал, что я такой же смелый человек, как эта укротительница? Я этого не говорил. Таких бесстрашных людей, может быть, только одного на тысячи и найдёшь. Но ведь кому нужна эта смелость? Зачем укротительница три раза в день входит в клетку с хищниками? Если бы она, рискуя жизнью, спасла этим кого-

нибудь — безоружного человека, ребёнка, ну, хоть корову, что ли, — это было бы геройство! А так — бросать своё мужество на ветер, на потеху ротозеев... Ну подумай сама: в чём тут геройство?

Павел Григорьевич молчит, но я чувствую, что он тоже согласен с папой.

— Знаете что, друзья мои? — вдруг начинает папа. — Если уж зашёл у нас этот разговор, то давайте поговорим о геройстве. Об этом нужно поговорить, нужно... Павел Григорьевич, бог с ней, с арифметикой! Она от нас не уйдёт... Вы разрешаете занять урок под этот разговор?

Павел Григорьевич молча кивает.

— Так вот, пусть каждый из нас расскажет о каком-нибудь герое, которого он сам знал. Кто первый? Ты, Леночка?

В пылу разговора я и не заметила, как в комнату вошла мама и слушала всё, что мы говорили. Она берёт со своего столика небольшую фотографию в рамочке и подаёт её мне. Я не понимаю, зачем мама мне это показывает: я отлично знаю эту фотографию и изображённого на ней военного, его грустные глаза и грудь, увешанную орденами и медалями. Под стеклом рамки фотография обклеена бледными, выцветшими засушенными фиалками.

— Знаешь, кто это? — спрашивает мама.

— Конечно! Это мой покойный дедушка...

— Да. И мой отец... — Мама любовно протирает стекло и рамочку. — Видишь, у него на груди четыре Георгия — «за храбрость»...

— Ты мне никогда не говорила...

— Думала: подрастёшь — скажу.

— А за что дедушке дали это?

— Он был военный врач. Наградили его в турецкую кампанию — с турками мы тогда воевали... И в приказе военного командования было сказано: «Наградить штабс-лекаря (врачей тогда лекарями звали) Семёна Михайловича Яблонкина за самоотверженную подачу помощи раненым под сильным огнём неприятеля». И так четыре раза — после четырёх сражений — награждали моего папу, твоего дедушку!

— «Под сильным огнём неприятеля»? — переспрашиваю я. — Это что значит?

— А то, — поясняет папа, — неприятель палил из пушек, раненые падали, а дедушка твой не сидел поодаль в безопасности, не ждал, пока их принесут к нему. Он был хирург и знал, что важно оказать раненому помощь как можно скорее. Он лез в самый огонь, выносил раненых из боя, перевязывал их тут же, на месте... Смелый был человек дедушка твой Семён Михайлович и герой: сотни жизней спас! Не о себе думал — о людях... Проходит несколько секунд молчания. Потом я говорю, ни к кому не обращаясь:

— Я вчера руку растопленным сахаром прижгла... Я хотела Рите и Зое свою дружбу доказать... Это глупо, да?

— Очень, — подтверждает папа. — Павел Григорьевич, дорогой, поглядите, что у этой дурынды на руке.

Пока Павел Григорьевич снимает Юзефин бинт, очищает ранку и присыпает её ксероформом (очень вонючее сухое лекарство!), я вспоминаю:

— Папа, а ты когда-нибудь видел героя?

— А как же! Вот недалеко вспоминать — три дня тому назад к нам в госпиталь обожжённого человека привезли. Пожарного, топорника. Трёх человек из горящего дома вынес. И тогда вдруг оказалось, что в запертой квартире осталось двое ребят. Дом уже весь

пламенем охватило, вот-вот рухнет... Пожарный снова полез в дом, нашёл детей — они почти уже задохлись. Выбраться с ними было трудно — внутренняя лестница уже обвалилась, — пожарный выбросил детей из окна, а внизу люди их на тюфяк подхватили. А вслед за детьми и пожарный выбросился. Очень тяжёлые ожоги у него, не знаю, выживет ли... Вы к нему сегодня в госпитале заходили, Павел Григорьевич?

— Заходил, конечно. Немного получше ему, но положение очень тяжёлое...

— Что ж? — обращается папа ко мне. — Вот тебе герой, которого я видел три дня тому назад. Не герой, нет?

— Герой... — соглашаюсь я тихонько. — Герой, да... А вы, Павел Григорьевич, вы когда-нибудь видели? Сами, своими глазами живого героя, да?

Павел Григорьевич отвечает не сразу. Он словно и не слышал моего вопроса. Глаза его смотрят поверх наших голов, лицо задумчиво и строго.

— Ты спрашиваешь (он уже давно не говорит мне «вы»), видел ли я героев? Ох, и как много! Я расскажу тебе только о троих. Они погибли на моих глазах. И любил я их больше, чем всех других, и помню их всегда...

(По А.Я. Бруштейн*)

** Александра Яковлевна Бруштейн (1884–1968) — русская советская писательница, драматург и автор воспоминаний.*

Проблема: «Можно ли назвать героическим любой смелый поступок?»

3. «Весна». Так называется эта картина из жизни русской деревни. Банный день. Молодая мать одевает дочку в предбаннике. Чистота, здоровье, красота волнуют нас в этом правдивом обыденном моменте человеческого бытия. Идёт синеватый дымок из бани, под ногами счастливой матери золотится солома, стынет в ведёрке вода из ручья, падает и тает редкий лопушистый снежок. Многие знают эту картину.

Если кто-то запомнил имя художника, назовём его: Аркадий Александрович Пластов — человек, чья судьба с первого до последнего часа жизни была связана с деревней Прислонихой, стоящей в полусотне вёрст от Симбирска — Ульяновска. Прислониха — деревенька старинная. Ей триста лет. Стоит она, прислонившись к косогору, поросшему лесом. Среди всех событий, пережитых деревней, главным надо считать рождение в тысяча восемьсот девяносто третьем году в семье Пластовых мальчика, для которого родная деревня стала судьбой, а для деревни он навсегда теперь — верный, преданный сын. Отец Аркадия был псаломщиком в местной церкви и очень хотел выучить мальчика на священника. Но судьбу сына определила встреча с весёлыми «богомазами», приезжавшими подновлять церковь. Вид красок и результаты работ мастеров поразили воображение подростка. «Буду художником!» — решил он.

И он художником стал. Большим, знаменитым. Получил много наград, звание академика, стал подлинно народным художником, бывал за границей, не переставая и там учиться, но часто искренне говорил: «Я всем обязан деревне». Прислониха стала главным жизненным университетом Пластова. Он знал быт крестьян и очень любил деревенских людей. Начальные его работы — по большей части портреты крестьян. Я много раз подолгу рассматривал в альбоме их лица: пахарь, пастух, кузнец, плотник, охотник, сторож, доярка... Мы видим не просто людей в полушубках, в будничных линялых одеждах и в праздничных одеяньях. Мы видим человеческие характеры, самые разные. Ничто в работах

художника не подсахарено: всюду жизнь, какой она и была. Пластов дорожил этой жизнью, причастностью к ней.

Часть зимы Пластов жил в Москве, в доме на Верхней Масловке. И, очень возможно, мы с ним встречались на остановке трамвая или Бутырском рынке. Но большая часть жизни художника проходила в Прислонихе. Деревенский уклад дел и забот был ему ближе, дороже, чем городской.

Деревенская жизнь близка к природе, крепко связана с ней. И Природа (напишем это слово с заглавной буквы) является одним из главных героев Пластова. Сколько написано им цветов, поставленных в вазы и кувшины, сколько их перешло на холсты с лугов, с полевых меж, с лесных полянок! Сколько грибов, ягод и всякой живности из крестьянского быта увековечено мастером! Живой видится на картинах его вода — вода, бегущая в роднике, текущая из ковшика косаря и тихо подрагивающая в ведре. И неброский приволжский пейзаж... Пластов ловил мгновенья — запечатлеть на холсте зной летнего полдня, закат солнца с алыми отблесками на постройках, на деревьях и на лицах людей. Волновала его тишина и загадочность лунной ночи, привлекательность «ягодного местечка», зимние первопутки. Ему удавалось «схватить» состоянья природы, длящиеся иногда всего две-три минуты. И очень его волновали в российском пейзаже границы смены времен года — разливы рек, февральская вьюга, первая зелень после снегов. И первый снег! Этот мотив не раз на холстах повторяется.

Постепенные накопления материала — портреты, этюды и зарисовки — побуждали обобщать сделанное в продуманных образах. На деревенском материале откликается художник на требования текущей жизни. Кажется, первой картиной, сделавшей имя Пластова сразу известным, был холст с названием «Фашист пролетел». Грустный день осени 42-го года. Остатки стада коров на опушке и лежащий в траве пастушок, расстрелянный сверху. Щемящий сердце эпизод огромной войны. Картина была замечена. Внук художника Николай Николаевич Пластов мне рассказал: «Сталин из Тегерана распорядился послать самолёт за этой картиной, чтобы поместить её в зале, где проходила в 43-м году знаменитая встреча глав государств, воевавших против фашистов...» У каждого даровитого живописца за творческую жизнь его скапливается множество разных работ. В целом это мир возвышений — холмы, горушки, среди которых видны вершины с белыми шапками снега. Их обычно не очень много, но именно они не дают забыть о художнике.

(По В.М. Пескову*)

** Василий Михайлович Песков (1930–2013) — советский писатель, журналист.*

Проблема: «Талант художника. В чем его истоки?»

4. (1)Было это давно уже, что-то году в сорок девятом, не позже. (2)Меня в первый раз пригласили в мореходное училище поработать в приёмной комиссии; я капитаном уже плавал тогда.

(3)Ну, сидим мы, значит, в комиссии, заседаем каждый день, личные дела поступающих изучаем, разговариваем о том, о сём... (4)И вот подошла очередь Кузьмы Куроптева. (5)Смотрю я на его экзаменационный лист, а там одни пятёрки. (6)И вдруг слышу, завуч — он председателем комиссии был — горестно говорит: «Вот, пожалуйста,

одни пятёрки у парня, а принять не сможем: росточек-то — сто сорок два сантиметра, а по положению нужно не меньше ста пятидесяти».

(7)Входит в кабинет Кузьма Куроптев. (8)Вошёл, степенно поклонился, неторопливо сделал три шага и встал навытяжку перед столом комиссии. (9)На вид ему никак не больше тринадцати лет было, хотя по документам значилось полных пятнадцать. (10)Одет очень бедно: рваные ботиночки из брезента, заштопанная рубашка и изношенные донельзя брючки. (11)С виду совсем ребёнок, личико такое худющее-прехудющее, только глаза смотрели не по годам серьёзно.

(12)Он стоял, весь вытянувшись в струнку, изо всех сил стараясь казаться выше. (13)И светились в его глазах такое ожидание, такая надежда...

(14)Завуч вздохнул и развёл руками.

— (15)Вот, брат, какое дело, экзамены ты сдал на пятёрки, да не можем мы принять тебя — рост маловат.

(16)Кузьма долго молчал, а потом тихо так заговорил.

— (17)Откуда же росту быть — одну картошку дома ели... (18)А тут, в училище, я бы быстро вырос, тут ведь хорошо кормят... (19)Мне нельзя домой возвращаться: у матери ещё пять душ, кроме меня, а отца нет, не вернулся с войны. (20)На училище одна надежда была. (21)Я буду очень стараться. (22)Примите, пожалуйста.

(23)Комиссия тогда раскололась: с одной стороны, уставы там разные, положения, а с другой — уж больно хорошим парнишка показался: серьёзный, упорный, умный. (24)Вспомнил я Филиппа Тимофеевича, как он меня, несмышлёныша, под крыло своё брал, учил, в люди выводил... (25)Эх, думаю, если не вступлюсь за парня — стыдно мне будет перед светлой памятью Филиппа Тимофеевича, и никогда не прощу я себе, если не помогу сейчас парню... (26)Спорили долго, до хрипоты. (27)Всё-таки решили сделать исключение. (28)Позвали парня, объявили ему решение. (29)Он вспыхнул и выбежал.

(30)Взял я его на заметку, переписывался с ним, летом к себе на судно брал, у нас он часто жил здесь. (31)Учился Кузьма отлично. (32)Всерьёз занялся спортом — на лыжах ходил, на коньках бегал, а уж гимнастикой увлекался до того, что первое место по городу держал...

(33)А в последнюю практику плавал он на учебном корабле. (34)И случилась у них в рейсе авария очень серьёзная. (35)В горячую топку надо было лезть, чтобы исправить повреждение. (36)Вы представляете — в раскалённую топку лезть? (37)А Кузьма полез. (38)Ожоги сильные получил, но исправил всё, что надо. (39)Как-то сидели мы здесь, за этим столом, и я спросил его, что, мол, тебя заставило лезть в топку? (40)А Кузьма ответил: «Что там попусту говорить, надо ведь кому-то было, а я всё же спортсмен, не я, так другой полез бы».

(41)Закончил Кузьма мореходку с отличием, а сейчас старшим механиком плавает у меня на сейнере. (42)Дом новый в посёлке строит, мать со всей младшей оравой к себе собирается забрать. (43)И не хочет уходить с сейнера, хотя ему предлагали на большом пароходе должность. (44)Не хочет...

(По А.А. Беляеву*)

** Беляев Альберт Андреевич (род. 1928 г.) — советский и российский писатель, журналист и литературовед. Доктор филологических наук.*

Проблема: «Почему в правилах бывают исключения?»

5. — Иди, Сашенька! — говорит мне тётя Женя. — Теперь ты... Я выхожу на сцену. Моё появление вызывает такой хохот зрителей, что я в недоумении останавливаюсь.

— Капот! — слышу я из-за двери трагический шёпот тёти Жени. — Опустит полы!

Только тут я спохватываюсь, что стою перед зрителями, подхватив со всех сторон руками полы своего злополучного капота, словно собралась переходить вброд ручей! Я поспешно опускаю полы капота и иду вперёд. Но бурная весёлость в зрительном зале не утихает — вероятно, моя унылая чёрная фигура очень смешна.

И тут происходит самая большая беда. Я делаю два шага, чтобы раскланяться и начать произносить «грустным-грустным» голосом свой монолог, но, наступив на свой капот, падаю, растянувшись во весь рост на полу... Смех вспыхивает ещё громче! Я упрямо делаю попытку встать снова и пройти расстояние до края сцены, но снова падаю, беспомощно барахтаясь на полу, лёжа на животе.

— Как жаба! — восторженно кричит кто-то из зрителей. Тогда я решаю: не встану! Скажу свой монолог лёжа, — какая разница? И, всё так же распластавшись лягушкой, я начинаю говорить. Но от волнения и огорчения я перепутываю слова и говорю «грустно-грустно»:

— Я — Пецарь Рычального Образа...

Зрители уже не смеются — они стонут, они плачут от смеха! Мне, конечно, очень хочется заплакать... Но тут я вдруг замечаю среди зрителей моего папу! Он смотрит на меня с тем лицом, с каким он обычно говорит мне: «Ненавижу плакс!» И слёзы сразу высыхают на моих глазах. У меня мелькает мысль: уползти со сцены на четвереньках, тем более что иначе я всё равно не могу сделать шагу, не спотыкаясь о капот и не падая всё снова и снова.

Я смотрю на папу. Это длится секунду или две, но я понимаю, что уползти по-собачьи нехорошо, что раз я взялась сказать какие-то слова, я должна сказать их во что бы то ни стало. Капот мешает мне? А ну его совсем, этот капот! В один миг я расстёгиваю пуговицы капота, он остаётся лежать на полу, я в собственном платье и с пером на голове подхожу к краю сцены, кланяюсь и начинаю говорить, слегка задыхаясь:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...

Никто в зале не смеётся. Пушкин — это Пушкин. И если не все понимают трагедию бедного рыцаря (я ведь и сама её толком не понимаю!), то все чувствуют музыку пушкинского стиха.

Почему я вдруг читаю не то, что мне назначено, — не про бедную покойницу Изабеллу, а Пушкина, — не знаю. Может быть, оттого, что я боюсь опять напутать («Пецарь Рычального Образа!»), а может быть, мне невольно захотелось как бы омыться светлыми струями пушкинской поэзии от всех перенесённых неприятностей и унижений... Но зрители аплодируют так же непосредственно, как за несколько минут до этого смеялись надо мной.

За сценой происходит бурная драма. Вовик Тележкин, который должен сейчас выйти играть на скрипке, вдруг испугался и не хочет выступать! Мама Вовика уговаривает его, умоляет, почти плачет, но Вовик, закрыв глаза и судорожно выпятив ощеренную нижнюю челюсть, упирается:

— Н-н-нет!

— Вовик, золотце, рыбка моя... — Мама осыпает его нежными словами и поцелуями.

— Н-н-нет! У меня там одно фа не выходит.

— Вовик, мама просит... Ты совсем не любишь свою маму!..

— Н-н-нет!

Зрители в зале уже прослушали романс про «веЧЭрние луЧЫ», они ждут скрипача, аплодируют и топают ногами. Но Вовик упрямо трясёт головой:

— Нет!

Тогда к Вовику подходит Рита и, как всегда хмуро набычившись, говорит ему:

— Сию минуту ступай играть!

И удивительно — Вовик как миленький отправляется со своей скрипкой на сцену!

Мама его вздыхает, словно её вытащили из воды.

Вовик усердно пикирует. Но в середине пьески, очевидно дойдя до того фа, которое у него «не выходит», Вовик умолкает, беспомощно озирается и, трясая головой, кричит:

— Н-н-нет!

И опрометью бежит со сцены.

Спектакль-концерт окончен.

(По А.Я. Бруштейн*)

** Александра Яковлевна Бруштейн (1884–1968) — русская советская писательница, драматург и автор воспоминаний.*

Проблема: «Что лучше "убежать" от проблемы или попробовать ее решить?»

6. Есть в человеческом характере такая черта — с удовольствием вспоминать прошлые трудности, тобой преодолённые. Это всегда приятно. Раз уж случилась война, то пребывание в армии стало делом нашей чести, так же как для прежних молодых поколений участие в гражданской войне, в строительстве Комсомольска и Магнитки, в коллективизации деревни, в покорении Арктики, а для нынешнего — в освоении целины и земель Сибири, хотя мне кажется не совсем точным сравнение мирныхстроек с передним краем — это всё-таки слишком разные вещи.

Мы пришли в армию, — наши кости ещё не окрепли, не затвердели мускулы. Мы ещё росли. Когда после войны нас осматривали новые медицинские комиссии, или, как тогда говорили, «перекомиссии», оказалось, что многие из нас прибавили в росте по несколько сантиметров. А как выросли наши души и характеры!

Армия многому научила нас. Это были наши университеты. Одних она приобщила к технике — к танку, пушке, самолёту, других научила владеть топором, пилой и лопатой. Война разбудила многие таланты, как всякая трагедия в жизни народа. А близость к природе, к земле, на которой лежишь, по которой идёшь, которую копаешь!

Армия научила нас мужской дружбе, — мы знали, пожалуй, только детскую. Мы ушли юношами, а вернулись мужами.

Сколько обрели мы новых друзей и сколько из них потеряли, чтобы не забыть никогда!

А разве можно забыть героизм гвардейских дивизий, железную дисциплину военных училищ или запасные полки, рвущиеся на фронт из каких-нибудь далёких

тыловых лагерей. Разве забудешь безмолвный Донбасс сорок третьего года, разбитые города Белоруссии и знаменитый Бобруйский котёл, где на много километров сплошным навалом, друг на друге — искореженные немецкие танки, орудия, бронетранспортёры, машины. А взятие нами Вены! А конец войны! А бесчисленные встречи в избах и хатах, в коттеджах и виллах на огромных дорогах войны! Армейская жизнь была суровой, но сколько в ней было неожиданного тепла! Я служил ещё по первому году, когда однажды к нашей землянке подошёл сержант из соседней роты и спросил: «Помкомвзвод дома?» Этот вопрос потряс меня. То есть как дома? Дом далеко отсюда. Разве здесь дом? А спустя несколько месяцев я и сам говорил так.

Столь же удивительным казался мне вопрос комбата к старшинам: «Покормили людей?» Чего, мол, их кормить? Сами поедят, только дай! Или: «Первая рота покушала? Вторая рота покушала?..» Это слово «покушала» (не «поела») казалось нарочитым, пока я не почувствовал, что оно имеет особый оттенок — не слащаво-городской, а уважительно-деревенский: покушала.

Мы были очень, очень молоды. Когда я смотрю на семнадцатилетних мальчиков, то думаю: «Неужели мы были такими? Если на него нагрузить всё, что было на нас, да чтоб он прошёл столько, сколько мы, пусть вполтину меньше, — он же умрёт! А может быть, это только кажется?..»

По натуре своей мы действительно мирные люди. Я никогда не встречал человека, который хотел бы войны. Но раз уж враг напал на нас, мы воевали. Это было главным, и нам не приходилось раздумывать, чтобы найти это главное место в жизни. В жизни каждого юноши наступает момент, когда необходим качественный скачок. Мы перешли в новое качество, надев красноармейские шинели.

Мне жаль тех людей моего поколения, кто не служил в армии рядовым. Иногда, собравшись с друзьями, мы под настроение, к месту, начинаем рассказывать о своей службе, о военной поре; мы увлекаемся, перебиваем друг друга и самих себя, перескакиваем с одного на другое. А те, кто не был там, тоже слушают с интересом. И как это ни странно, менее других фигурируют здесь так называемые боевые эпизоды. Нет, это истории скорее познавательного характера, забавные и грустные, — о себе и встреченных тобой людях, истории, ограниченные рамками времени и обстановки. И едва ли не главное в них — это множество деталей, подробностей, которые, если не вспоминать их, постепенно выветриваются из нашей памяти, заменяясь другими.

(По К.Я. Ваншенкину*)

** Константин Яковлевич Ваншенкин (1925–2012) — советский и российский поэт, автор слов популярных песен, публицист.*

Проблема: «Какой опыт получает молодой человек, служа в армии?»

7. Нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крыльчке, в хату влетел краснощёкий, с морозным духом и с порога заявил:

— Завтра на рыбалку!

— Это хорошо, — одобрила баба Дуня. — Ушицей поладимся.

Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял, на полдома разложив своё богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сём.

Укладывались спать. Баба Дуня, совестьясь, сказала:

— Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:

— Я, бабаня, ничего не слышу. Сплю мёртвым сном.

— Ну и слава Богу. А то вот я шумлю. Ничего поделывать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.

Но среди ночи Гриша проснулся от крика:

— Помогите! Помогите, люди добрые!

Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.

— Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял? — И смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжёлое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:

— Карточки... Где карточки... В синем платочке... Люди добрые. Ребятишки...

Петяня, Шурик, Таечка... Домой приду, они исть попросят... Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя... — Баба Дуня запнулась, словно ошеломлённая, и закричала: — Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! — Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошёл в бабушкину комнату.

— Бабаня! Бабаня! — позвал он. — Проснись...

Она проснулась, заворочалась:

— Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.

— Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.

— На сердце, на сердце... — послушно согласилась баба Дуня.

— Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.

— Лягу, лягу...

Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лёг в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка, — это отец.

В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудрёме Гриша услышал бабушкино бормотание:

— Зима находит... Желудков запастись... Ребятишкам, детишкам... — бормотала баба Дуня. — Хлебца не хватает, и желудками обойдёмся. Не отымайте, Христа ради... Не отымайте! — закричала она. — Хучь мешки отдайте! Мешки! — И рыдания оборвали крик.

Гриша вскочил с постели.

— Бабаня! Бабаня! — крикнул он и свет зажёл в кухне. — Бабаня, проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слёзы.

— Бабаня... — охнул Гриша. — Ты вправду плачешь? Так ведь это всё сон.

— Плачу. Во сне, во сне...

— Но слёзы-то зачем настоящие? Ведь сон — неправда. Ты вот проснулась, и всё.

— Да это сейчас проснулась. А там...

— А чего тебе снилось? — Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.

— А зачем тебе жёлуди?

— Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.

— Бабаня, тебе это только снится или это было? — спросил Гриша.

— Снится, — ответила баба Дуня. — Снится — и было. Не приведи, Господи. Не приведи... Ну, ложись иди ложись...

За обедом баба Дуня горевала:

— Не даю тебе спать... До двух раз булгачила. Старость.

— Бабаня, в голову не бери, — успокаивал её Гриша. — Выплюсь, какие мои годы...

Прошёл ещё день и ещё. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:

— Спать тебе баба Дуня даёт? — И посоветовала: — Она лишь начнёт с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.

По пути домой стало думать о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут ещё эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки — нет. И с какой, верно, тягостью ждёт она ночи. Всё люди прожили горькое и забыли. А у неё оно снова и снова. Но как помочь?

Пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лёг, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось ещё невнятное бормотание, он поднялся и пошёл. Свет в кухне зажгёт, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.

— Потеряла... Нет... Нету карточек... — бормотала баба Дуня ещё негромко. — Карточки... Где... Карточки... — И слёзы, слёзы подкатывали.

Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял — топнуть. Чтобы уж наверняка.

— Хлебные... карточки... — в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня. Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

— Вот ваши карточки, бабаня... В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите, — настойчиво повторял он. — Все целые, берите...

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:

— Мои, мои... Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек...

По голосу её Гриша понял, что сейчас она заплачет.

— Не надо плакать, — громко сказал он. — Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать, — говорил он, словно приказывал. — И спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.

Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была ещё тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то ещё... Он не спал, но находился в странном забытьи, словно в годах далёких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слёзы кулаком.

Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лёг в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе... Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчётливо понял — ни слова, ни даже намёка. Это должно остаться и умереть в нём. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придёт исцеление.

(По Б.П. Екимову*)

** Борис Петрович Екимов (род. в 1938) — советский и российский публицист и прозаик.*

Проблема: «В чём проявляется доброта и сострадание к людям?»

8. Коля простоял у двери с дощечкой «Детская музыкальная школа» несколько минут. Лёня звал его идти вместе с ним, но Коля отказался. Он стеснялся Евдокии Петровны и вообще ещё не знал, пойдёт ли.

Но в последнюю минуту он решил идти. Интересно всё-таки, почему его позвали! Лёня на этот счёт ничего не мог сказать.

Войдя в зал, Коля сел в заднем ряду, на крайнем стуле. Игру малышей он слушал не очень внимательно. Но один мальчуган играл что-то очень ловко и решительно — это ему понравилось. Некоторые девочки играли как будто неплохо, но он почти не смотрел на них и слушал нехотя.

Но вот смуглый, небольшого роста учитель, объявляющий, кто сейчас будет играть, назвал Лёнину фамилию, и Коля весь встрепенулся. Ему вдруг стало очень страшно за друга: что, если он осрамится, забудет? Может, не выучил? И тут впервые Коля подумал с сожалением: не надо было вчера звать Лёню гулять. А Лёня уже вышел к роялю и через головы всех посмотрел в конец зала, на Колю. Он стал настраивать скрипку, и Коля сразу отметил, что он настраивал сам, не то что малыши и девочки, которым настраивал учитель. С этой минуты Коля весь превратился в слух и зрение и замечал и слышал всё.

Вот пианистка закончила вступление, и Лёня начал играть. Вот как он играет — не чета девчонкам! Смело, звучно — наверно, даже на улице слышно. И как это у него получается? До чего же ловкие у него руки! А пальцы как быстро бегают по струнам! Коля никогда не думал, что у его друга такие ловкие руки. И как здорово он играет! Дома Коля никогда не слушал его. Если он заставал Лёню играющим, то обычно говорил что-нибудь ядовитое, вроде: «Эх ты, пиликалка!» И Лёня сейчас же бросал скрипку и уходил с ним по их настоящим, важным мальчишеским делам. А сейчас эти дела уже не кажутся Коле единственно важными на свете.

Сейчас он с удивлением и затаённой тревогой слушает друга и следит за его умелыми руками. А вдруг с ним произойдёт то, что случилось только что с одним

маленьким мальчиком, — и он остановится, забудет, как дальше играть, и смутится, оробеет на глазах у девочек, учителей и взрослых!..

Вон там сидит Лёнина мать. Она подпёрла щеку рукой, лицо у неё покраснелось, белый платок на плечах ещё ярче оттеняет его.

Коля вспоминает, сколько раз ему попадало от Евдокии Петровны из-за Лёни, и отворачивается.

Но вот Лёня сыграл что-то решительное и громкое и остановился. Кончил? Нет, пианистка снова заиграла одна, а Лёня стоит, опустив скрипку и глядя вперёд блестящими глазами. Он смотрит в конец зала, но Коля понимает, что сейчас Лёня не видит его. Коля глядит на лицо своего друга и не узнаёт его. Лёнино лицо строже и спокойнее, чем всегда. Глаза блестят, губы плотно сжаты. Но вот он снова поднял смычок. Ух, как хорошо он заиграл! Даже мурашки забегали по Колиному телу. И вдруг... что же это, неужели сбился?

Да, Лёня вдруг как-то спутался, сбился, оглянулся на пианистку...

— Начни с аккорда, — негромко и спокойно сказал чей-то мужской голос.

«Учитель, наверно», — мелькает у Коли в голове. Он крепко сжал руки, даже зубы стиснул. Как хотелось бы ему сейчас помочь другу выпутаться из беды! Кажется, всё обошлось. Лёня заиграл снова, пальцы его снова бегают по струнам, только лицо у него уже не такое спокойное.

Вот он кончил, положил скрипку на рояль и сел на своё место, опустив голову. Учителя в первом ряду что-то тихо говорят друг другу и записывают на листочках. Коля хочется сказать этим людям, что Лёня играл всё равно очень хорошо, уж, во всяком случае, лучше девочек. А что он спутался — так это потому, что вчера мало играл. А в это время уже объявляют фамилию следующего выступающего — опять какая-то девочка. Коле больше не хочется слушать. Он думает: может, уйти? Но надо дождаться друга.

— Перерыв десять минут, — объявил черноволосый учитель, и Коля первым вышел из зала.

Сейчас же за ним выскочил Лёня. Мальчики немного сконфуженно взглянули друг на друга.

К мальчикам неожиданно подошёл высокий загорелый человек, держащийся очень прямо, по-военному, и протянул Коле руку:

— Коля Гриненко?

— Да, — удивлённо ответил Коля, пожимая протянутую ему руку. Коля увидел, что друг его смутился, но он уже и сам догадался: Лёнин учитель.

— Понравился концерт? — спросил Лёнин учитель.

— Да... — ответил Коля неуверенно. (И куда его задор девался?)

— А Лёня как играл?

— Хорошо играл! — решительно ответил Коля.

Он подумал: надо защитить Лёню. Может быть, это имеет значение для учителей, когда другим нравится?

— Да, неплохо играл, — сказал Лёнин учитель, — но и не совсем хорошо. Что сбился — это ещё не так важно, а вот что в трудных местах пальцы заплетались — это похуже.

Работал мало!

Учитель серьёзно посмотрел сначала на Лёню, потом на Колю и вдруг улыбнулся им по-мальчишески, кивнул головой и отошёл.

Мальчики вышли на улицу. Какой дождь! Льёт прямо как из ведра!
— Подождём здесь, — сказал Лёня и стал под навес.
— Стой-ка, — сказал Коля; он распахнул пальтишко и сунул под него скрипку.
— Да, она дождя не любит, — сказал Лёня.
Он почему-то совсем не удивился поступку друга.
(По Э.М. Эдмен*)

** Эсфирь Моисеевна Эдмен (1905–1961) — русская советская писательница, автор книг для детей, литературный редактор.*

Проблема: «Должны ли друзья поддерживать друг друга в учёбе и труде?»

9. Слон опускается на колени, и старик из Бомбея, выйдя из домика, раскланивается с публикой. Наверно, он индеец, иначе зачем бы ему забираться в город Бомбей? Он не чёрный и не «фейолетовый» — он смугло-кофейного цвета и, по-моему, очень славный старичок. Приложив к губам дудочку, он играет что-то протяжно-грустное, и слон медленно приплясывает в такт, осторожно переставляя огромные ноги. Индеец всё ускоряет свою песенку, переводя её в весёлое звучание, и слон всё быстрее переступает ногами и поводит хоботом.

Потом кофейный старичок воздевает руки к небу, из горла его льются гортанные звуки — похоже, что он молится. И слон тоже поднимает вверх голову и хобот, но делает он это не очень охотно, и мне вспоминается, как фрейлейн Цецильхен по вечерам заставляла меня молиться: «День прошёл, иду ко сну, крепко глазки я сомкну...»

— И какому же это он богу молится? — интересуется дама в шляпке.

— Ну, «какому, какому»!.. — пожимает плечами акцизный чиновник. — Своему, конечно, басурманскому богу...

Дрессировщик показывает всё новое искусство своего слона. Слон бьёт в барабан, звонит в колокольчик, жонглирует стулом и проделывает ещё много других номеров. Наконец кофейный старичок подходит к краю эстрады и обращается к зрителям на ломаном русском языке, сильно наперчённом буквой «х». Он просит, чтобы одна дама (он произносит «одхин дхама») — «не муж-ч-хин, нет, нет, — дхама, женчин», — чтобы женщина вошла на эстраду, и тогда слон скажет ей «один прекр-х-асный слов»... Лёгким движением смуглых рук дрессировщик делает приглашающий жест:

— Сюда, сюда!.. Один женчин!

Но проходит секунда, две, три — и ни одна «женчин» не выражает желания идти на эстраду. Глаза индийского старика с кофейной кожей становятся грустные, испуганные, в них почти отчаяние. Он беспомощно оглядывается. Ведь срывается, срывается номер!

— Один дама... Один женчин... Сюда!

Это он просит упавшим голосом, почти тихо. Мы с мамой стоим около самой эстрады. И вдруг неожиданно для самой себя я говорю громко, протягивая руки:

— Я... я пойду!

Мама обомлела, она даже не успевает удержать меня хоть за рукав. Старый индеец, просияв, поднимает меня под мышки на эстраду и ставит на стул:

— Нич-х-его... Мерси... Не надо боисся...

Он отдаёт короткий приказ слону и вкладывает ему что-то в хобот... Слон опускается на передние колени — и протягивает ко мне хобот с букетиком весенних цветов. Публика аплодирует — ей понравилось.

Старый индеец говорит мне с улыбкой:

— Мой с-х-лон говорит: вы есть самый прек-х-расный дама!

Надо что-то сказать ему — поблагодарить за цветы, — наконец, попрощаться, что ли. Взрослые это умеют — мама бы сказала очень мило всё, что нужно... Но я, конечно, этого не умею! Я встаю и от души целую его в щёку кофейного цвета. И, как всегда, когда волнуясь, говорю одно вместо другого: не «спасибо за цветы», а «с добрым утром»!

Публика смеётся и аплодирует.

Слон и старик уходят с эстрады.

Тут всеобщее внимание переключается на другое: лысый служитель объявляет, что сейчас знаменитая укротительница «мадмазель» Ирма войдёт в клетку и покажет высшую школу дрессировки хищных зверей. В заключение чего «мадмазель» Ирма исполнит «смертный номер»: вложит свою голову в пасть льва Альфреда.

Публика спешит к клеткам хищников, чтобы увидеть эти чудеса. Около пустой эстрады остаёмся только мы с мамой, да Шабановы, да тот старенький дедушка с внуком, объяснявший маме, что такое «зеберь».

— Леночка... — говорит маме потрясённая, перепуганная Серафима Павловна, — это же... Дорогая моя, это же просто не знаю что! Такая послушная, скромная девочка, и вдруг... Это она в отца, Якова Ефимовича, такая отчаянная растёт!

Рита пренебрежительно вздёргивают плечом:

— Подумаешь, какая смелая! Я бы тоже пошла на эстраду, но я этого паршивого слона ненавижу: он мою шляпку сжевал! Не хочу иметь с ним дела!

Зоя увлекает мать, тётю Женю и Риту к клеткам хищников: смотреть «смертный номер».

Мама от волнения не может вымолвить ни слова. Она только непрерывно расстёгивает и застёгивает пуговицу на своей левой перчатке.

— Зачем ты это сделала? — спрашивает она наконец. — Я чуть не умерла от страха! Ну зачем ты это сделала?

— Не знаю... — признаюсь я от души. — Мамочка, не сердись... Такой умный слон! И старичок этот, индеец, стоит, просит: «Один дама... один женчин!», а никто не идёт к нему...

Старичок в картузе, держа за руку внука, подходит к маме:

— Вы, мадам, не огорчайтесь... У вас неплохой ребёнок растёт! Я, знаете, не учёный человек, но я — переплётчик, я читаю много книг, и я кое-что понимаю в жизни! Вот — все тут говорили: «эфиоп», «басурман», а кто его пожалел? Ребёнок...

— Дедушка-а-а... — ноет мальчугашка. — Пойдём... Там главный лев кому-то голову откусит! Пойдём!

Мы с мамой остались одни.

— Я уже и не знаю — может, нам лучше домой пойти! Ты ещё полезешь в клетку ко льву и будешь с ним целоваться...

— Ой, нет, нет! Я этих львов и тигров ужасно боюсь! Идём смотреть...

Клетка львов ярко освещена несколькими керосиновыми лампами. В клетке появляется «мадмазель» Ирма. Она одета в такой ослепительный костюм, что поначалу кажется мне самой прекрасной красавицей. На голове её, на белокурых волосах, сверкает

яркий султан из золотых нитей. Всё её платье обшито блёстками, свет их дрожит и переливается. как река на солнце. Только постепенно я начинаю прозревать, что укротительница не такая уж красавица, каких изображают на конфетных коробках. Под великолепно молодыми белокурыми волосами у неё староватое, в складках и морщинах лицо, жёлтое, как шафран! Женщина, видимо, больна желтухой. Из сильно открытого платья выглядывают тощие жёлтые-жёлтые ключицы, такого же цвета и руки, видные до плеч.

— А и же-о-олтая же немка! — раздаётся в толпе.

В руках укротительницы, сильных, мускулистых, хлыст, и она щёлкает им, словно стреляет. Она не бьёт зверей, но, вероятно, они знают вкус этого хлыста, потому что недоверчиво и чуть боязливо косятся на него. Выкрикивая какие-то непонятные короткие слова, вроде «Ап!», «Па!», укротительница заставляет хищников бегать вокруг неё, прыгать сквозь обруч. Ни на одну секунду не спускает она с них глаз и ни на одну секунду не поворачивается к ним спиной. Но бесстрашие её изумительно! Она треплет косматые головы хищников, таскает их за хвосты, играет с ними, как с котятками. Наконец наступают «смертный номер»: сняв с головы золотой султан, укротительница обеими руками раскрывает страшную пасть льва Альфреда... Сейчас она вложит в эту пасть свою бесшабашную голову!..

Дальше я уже ничего не вижу: я закрываю глаза и прижимаю их к маминой руке. Я слышу, как в мёртвой тишине замирает вся публика — ни звука, ни слова, ни шороха! Затем, словно освободившись от тревоги, зрители аплодируют!

— Не съел! — радостно кричит кто-то рядом с нами.

Я открываю глаза. «Смертный номер» окончен. Сверкая снова надетым золотым султаном, кивая головой на жёлтой шее, укротительница, уже вышедшая из клетки, раскланивается с публикой.

— Мама... — шепчу я. — Как это было? Я ведь не видела... Я, знаешь, закрыла глаза...

Это я говорю с чувством виноватости: всё-таки я трусиха!

— Как это было, мамочка?

И мама отвечает мне шёпотом:

— Не знаю. Я тоже закрыла глаза...

Когда мы выходим из зверинца, позади нас — певучий женский голос:

— Ну станет лев этикие жёлтые кости глотать, когда ему только что перед тем мало-мало что не десять фунтов мяса отвалили. И какого мяса! Кострец первый сорт!

Домой мы приезжаем вместе с Шабановыми. Они у нас обедают. И Рита и Зоя отлично едят вместе со всеми, без гримас и капризов.

— Леночка! — восхищается Серафима Павловна. — Ты смотри, как мои девочки у тебя славно кушают! Просто чудо!

— Никакого чуда нет! — кричит папа из другой комнаты. — Просто проголодались дети, и у них появился естественный аппетит... Вы, Серафима Павловна, продержали бы их денёк на голодной диете, они бы у вас гвозди ели, без всякой горчицы!

— Бог знает что вы говорите, Яков Ефимович! — смеётся и ужасается Серафима Павловна.

Обед проходит весело и оживлённо. Только я молчу, словно разучилась говорить. Я молчу и думаю, думаю...

— Пуговка! — снова кричит папа. — Почему я твоего голоса не слышу?

— Не трогайте её, Яков Ефимович! — И Серафима Павловна ласково гладит меня своей тёплой, толстой рукой. — Она всё-таки, наверно, испугалась слона... Да, Сашуня?

Ну как мне объяснить, что я уже забыла думать и о слоне и о кофейной старичке из города Бомбея! Все мои мысли, все мои восторги — с укротительницей львов и тигров. Вот это смелость, вот это геройство! Я уж не помню, какой на ней был попугайный наряд, как смешно и жалобно торчали её тощие, жёлтые ключицы. Я думаю только о том, что никто из тех, кого я знаю, не полез бы в клетку к диким зверям, где одно лишь неловкое движение укротительницы — и смерть ей! Укротительница Ирма кажется мне ослепительной, прекрасной героиней... Мысли бегут у меня в голове быстрее, чем крупинки соли из солонки, которую я нечаянно опрокинула на колени Серафимы Павловны. В моей душе зреют решения, от которых у меня самой замирает сердце... Я не могу дождаться, когда кончится этот несносный обед!

(По А.Я. Бруштейн*)

** Александра Яковлевна Бруштейн (1884–1968) — русская советская писательница, драматург и автор воспоминаний.*

Проблема: «Как поступить по отношению к человеку, попавшему в затруднительное положение?»

10. Интеллигент всегда излучал особый духовный свет, который растапливал серость окружающей жизни, интеллигент по своей природе был сеятелем (сеял «разумное, доброе, вечное...»). Если не он станет бороться с серостью окружающей жизни, то тогда, спрашивается, кто же?

Другое дело — интеллеktуал, который так боится «серости», — он способен только поглощать свет, а по своим наклонностям он «жнец» с чисто потребительской психологией. И «волнующая» фраза «всё выжимать из своей молодости» — всего лишь красивая формулировка бытовавшего в те времена мещанского девиза «бери от жизни всё, что можешь».

В основе интеллигентности лежат глубокие знания (или стремления к ним) плюс высокое гражданское сознание и постоянный нравственный поиск; в основе интеллектуальности — разнообразие информации и сознание собственной исключительности. Интеллигентный человек — по преимуществу человек знающий и думающий, склонный к сомнению и неудовлетворённости собой; интеллектуальный человек — по преимуществу человек осведомлённый и рассуждающий, склонный к самоуверенности и неудовлетворённости другими, поэтому, вероятно, он нигде не оставляет прочного положительного следа своей деятельности. Интеллигента всегда интересует суть вопроса, интеллектуала — новизна вопроса.

Русская интеллигенция никогда не добивалась лично для себя каких-то особых прав и привилегий. И ещё: русский интеллигент никогда не подчёркивал своей образованности, порой даже стеснялся её проявлять, дабы тем не обидеть своего малообразованного соотечественника. Разумеется, во все времена появлялись различного рода Ионычи, и беда не в том, что приумножились их ряды. Беда в другом: новоявленные Ионычи, усвоив с чужих слов модные убеждения, стали необычайно агрессивны и деятельны в области удовлетворения собственных запросов.

Более ста лет назад Достоевский сделал такой вывод: «Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные».

Литература обратилась к периоду Великой Отечественной войны потому, что этот период был одним из важнейших этапов в развитии нашего национального характера. И без глубокого философского осмысления Великой Отечественной войны вряд ли возможно было проникнуть в подлинную сущность последующих непростых событий и жизненных явлений, не растеряться под напором разрозненных фактов современной действительности. И тут уместно вспомнить стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», написанное им в первые же месяцы войны.

Война дала то прозрение, к которому можно идти долгие годы, всю жизнь, но так к нему и не прийти. И биография этого прозрения уложена здесь же, в строках стихотворения: «Не знаю, как ты, а меня с деревенскою дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и песнею женскою впервые война на просёлках свела». Вот тот маршрут по родной земле, который позволил поэту без тени фальши и без какого-либо верноподданничества сказать о Родине высокие и пронзительно-искренние слова».

(По А.П. Ланцикову*)

** Анатолий Петрович Ланциков (1929–2007) — русский литературный критик, публицист.*

Проблема: «В чём различие интеллигентности и интеллектуальности?»

11. — Маша, ты умеешь делать снежного ангела?

— Это ещё как?

— Смотри на меня, — и весёлая темноволосая девчонка в белой шубке шлёпнулась на спину в пушистый сугроб и будто крыльями стала разгребать снег вокруг себя.

— Маш, дай руку, подними меня, а то я ангела испорчу.

Я протянула младшей сестричке Мариночке руку в зелёной рукавичке, и она, крепко вцепившись в неё, поднялась из сугроба. Мы вместе разглядывали на снегу отпечаток тела сестры, напомилавший рождественского ангелочка в платьице и с широким размахом крыльев, которые вешают на новогодние ёлки перед самым радостным праздником в году.

— Я тоже так могу, — сказала я и плюхнулась навзничь в хрустящий пушистый снег.

Шапка слетела с головы, и на белоснежный покров рассыпались рыжие кудряшки. Над головой закружились высокие кроны тянущихся в бесконечное небо сосен. Падал пушистый снег, от которого я щурила глаза и весело смеялась, ведь теперь я настоящий ангел!

— Ну что ты лежишь, Маш? Давай, руками шевели, а то ангел не получится! У меня появилась сестра, когда мне едва стукнуло шесть, и чтобы быть ближе с ней по возрасту, я всегда говорила, что мне было пять, когда она родилась. Отец редко бывал дома. В стране бушевали девяностые, и с преподавательской работы в институте он вынужден был уйти в «купи-продай». Торговлей тогда занимались все. Это позволяло жить намного лучше, чем на зарплату преподавателя, но и о стабильности пришлось забыть. Мама тянула на себе нас двоих — мне, первоклашке, нужно было помогать делать уроки, а за Мариной, очень беспокойным карапузом, нужен был глаз да глаз. Мы с младшей сестрой

всегда были похожи внешне, но по характеру, напротив, слыли полными противоположностями. Я — спокойная, усидчивая, обожающая чтение и прописи, а Марина — юркая, активная, громким плачем требующая постоянного внимания от мамы. Папа денно и ночью пропадал на работе, а мама не только тянула на себе ребятишек, но и на пару с соседкой занималась пошивом детских платьев, которые за копейки сдавались в местный магазин одежды. Я повзрослела очень рано.

— Маша, ты же взрослая! Старшая сестра теперь, — регулярно напоминала мне мама.

Я быстро освоила готовку, уборку, глажку, смену пелёнок, а вечерами читала сестре сказки вслух, чтобы мама хоть немного могла отдохнуть. Когда мама вышла на полный рабочий день, дом и ребёнок вовсе остались на мне. Ответственность, лежавшая на моих детских плечиках, сделала меня второй мамой младшей сестре. Как же я завидовала тогда подружкам-хохотушкам, которые часами бегали во дворе в ярких платьицах и играли с новенькими куклами Барби, только появившимися на полках единственного провинциального «Детского мира» в центре Барнаула. Мне играть было некогда, да и куклами похвастаться ввиду скромного семейного достатка я особо не могла. На лето нас с сестрой отправляли к бабушке с дедушкой. Мы постоянно были вместе, так и выросли душа в душу.

Противоположности, как известно, притягиваются. Чем старше мы становились, тем больше стиралась разница в возрасте, и со временем мы друг другу стали единственными лучшими подругами, делили пополам всё — от сладких бабушкиных булочек и советских ирисок «Кис-кис» — вязких конфет, от которых терялись первые молочные зубки и свежеспоставленные пломбы, до горестей наказания за совершённые провинности вроде обливания прохожих с балкона в день Ивана Купалы в середине лета.

(По М.В. Бутиной*)

** Мария Валерьевна Бутина (род. 1988 года) — российский политический и общественный деятель, писатель.*

Проблема: «Как люди понимают, что взрослеют?»

12. Недавно коллекционер старых вещей, Иван Александрович Фоминых, случайно в разговоре припомнил металлическую решёточку, которую носили на ручных часах, и меня жаром обдало. От чего? Да от счастья: сразу вспомнились отцовские часы с этой решёткой. Нет, конечно, что-то было связано с этим счастливым, дорогое. Я увидел большую отцовскую руку в рыжих волосиках, я брал её и смотрел, как там за решёткой, тикая, бежала секундная стрелка. Часы были переделаны из карманных на ручные. Стекло на них большое, и его защищали стальной решёткой. Но было что-то ещё, связанное с часами, с этой решёткой. Куда-то мы шли, шагая с ним по шпалам. Шли долго, далеко, и что-то с нами приключилось дорогой... Треченный временем, но всё же выплыл этот прекрасный день из тьмы...

«Для этого я и собираю старые вещи, — сказал мне Иван Александрович Фоминых.

Люди вдруг что-то вспоминают. Запах или цвет. Что-то открывается, и человек на несколько минут возвращается в детство. Рыбалка, допустим, мать, дядя — мало ли что, и получается прилив радости. Обязательно хорошо, потому что и в печали той, детской, есть потребность. Прикоснуться к ней приятно».

У него собрано обширное хозяйство старых механизмов, пишущих машинок всех марок, мотоциклы, граммофоны, первые счётные машины. Он постоянно устраивает выставки во Дворцах культуры, в клубах: «Комната учительницы до революции», «Мастерская механика начала века». На острове Голодай в старом доме у него есть квартирка, которая, в сущности, представляет музей быта. Две её комнатки, кухня и передняя — всё набито старыми вещами. При входе висят на вешалке картузы, цилиндры, стоят старинные сапоги, на стенах кружки для пожертвований, первой модели электросчётчик, и далее уже не счесть, не пересказать. Тут и альбомы, и копилки, и подсвечник, сделанный из турецких пуль, старые дореволюционные пеналы, поварёшки. Электрическая лампочка — у неё на самой макушке острый стеклянный носик. Картонка — круглая, большая коробка, в ней хранили женские шляпки: Дама сдавала багаж: Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку...

На носу у дамы было пенсне со шнурочком. Что-то узнаёшь, чему-то удивляешься, а иногда такие радостные встречи происходят, как будто самых близких друзей увидел, которых и живыми-то не числил. Они толпятся, напоминают о себе, позабытые знакомцы, спутники детских игр, друзья дома, друзья твоих родителей...

Целое сборище ножей для разрезания книг: металлические, деревянные, костяные. Сейчас все книги выпускают с разрезанными страницами, а тогда многие книги были как бы закрыты. В самый разгар повествования страницу перевернуть было невозможно, её надо было разрезать, и это нетерпение, треск разрезаемой бумаги составляли цепь перерывов сладостных и досадных, которые входили в работу чтения. Книга проверялась: неразрезанные страницы свидетельствовали о скуке, о книге никчёмной, а может, непонятой.

Я чуть не вскрикнул, увидев коллекцию переводных картинок, тех самых, которые я выменивал, добывал... Эта квартира набита воспоминаниями. Фоминых собирает их и хранит в виде старых вещей, которые он добывает по разработанной им системе. Вызнает про дома, предназначенные на капитальный ремонт. Людей расселяют, и они наконец решаются расстаться со старыми вещами. Большинство даже пользуется случаем избавиться от барахла. Для Фоминых это барахло — сокровища. Он знакомится на улицах с бабками, оставляет им свой телефон: может, захотят что отдать. «Не выбрасывайте, не уничтожайте старое, — твердит он, — старое не значит ненужное, не значит бессмысленное, лишнее».

Это происходит из века в век. Модное, дорогое становится дешёвым, теряет привлекательность, покрывается налётом пошлости. Со временем пошлость переходит в уродство, оно растёт и делается смешным. Затем забавным... Удивительным... Любопытным... Романтичным... Дорогим... Иногда для этого нужны десятилетия, иногда века. В живописи есть похожие примеры. Картины Бёклина, более всего «Остров мёртвых», в репродукциях и копиях висели в начале века повсюду: и в Германии, и в России. Пока не стали обозначением мещанского вкуса. Тогда они исчезли. Начисто исчезли. Теперь, спустя три четверти века, в этом модерне появились красота и романтика. Бёклина смотрят с удовольствием, так же как Шишкина.

(По Д.А. Гранину*)

** Даниил Александрович Гранин (1919–2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель.*

Проблема: «Что дает людям собрание старых вещей?»

13. Антону пришла в голову изумительная идея: создать ТОИВ, то есть Тайное общество испытания воли. Это случилось после того, как нас исколошматили в Дерюгинском переулке. Антон поправился, и мы решили пойти туда снова. Мы — это Антон, Химиус, Морж, Лёвка Шулепа и я. Но тут встал вопрос о Вадьке тайное общество? Когда-то давно он принёс в школу белый батон, сидел на уроке, щипал мякиш и угощал желающих. А желающих было много! Кажется, пустяк: притащил батон, который всякий может купить в булочной за пятнадцать копеек. Но вот никто не догадался, а он догадался. И на переменке все просили у него кусочек и он всех оделял. Впрочем, не всех. Некоторым он не давал. Например, тем, кто приносил в школу бутерброды с сыром и колбасой, а ведь им, бедным, тоже хотелось батончика! Этот Вадька Батон долгое время занимал меня как личность немного загадочная. Почему-то многие хотели с ним дружить. Он был какой-то для всех подходящий. И такой, и этакий, и с теми, и с этими, и не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый, и не то чтобы осьминог, и не совсем оглоед, и не трусливый, и не смельчак, и вроде бы не хитрец, и в то же время не простофиля. Он мог дружить с Левкой и с Манюней, хотя Лёвка и Манюня друг друга терпеть не могли. Был хорош с Антоном, ходил в гости к Химиусу и к Лёвке и ладил с дерюгинскими, которые нас ненавидели. Его друзьями были Антон Овчина и Минька Бык одновременно! Вот и думали: как поступить с ним? Рассказать ли ему нашу тайну? Шулепа был горячий его защитник. Он говорил, что Батон никогда не предаст. Антон тоже склонялся к тому, чтобы Батона принять в ТОИВ, потому что от него могла быть польза. Мне очень не хотелось, чтобы он был принят в тайное общество, но сказать об этом вслух и объяснить причины я не мог.

Кстати, он не умел острить. В его шутках было больше насмешки, чем остроумия. Он, например, любил поиздеваться над Яриком, отпускал по его адресу ехидные замечания. Ах, может, все это мне только мерещилось с досады!

Ведь и Ярик как-то льнул к нему и хотел с ним дружить... Он был совершенно никакой, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть никаким. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом никакими, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, довоображают и дорисовывают на никаком фоне всё, что им подсказывают их желания и их страхи. Никакие всегда везунчики. В жизни мне пришлось встретиться с двумя или тремя этой изумительной породы — Батон запомнился просто потому, что был первый, кому так наглядно везло за никакие заслуги, — и меня всегда поражала окрылявшая их милость судьбы.

Ведь и Вадька Батон стал в своей области важной шишкой. Не знаю точно какой, меня это не интересует. Но, когда кто-то рассказал про него, я не удивился: так и должно быть! И сто лет назад, когда пятеро мальчишек решали жгучую проблему — посвящать или не посвящать его в свою тайну, — ему, конечно же, повезло. Решили посвятить и принять. Антон сказал, что война с дерюгинскими будет долгая, на изнурение и нужен свой человек в их стране. Однажды после уроков повели Вадьку Батона на задворки и всё рассказали. А он уже что-то подозревал. И было видно, как он обрадовался, когда ему предложили вступить в ТОИВ. Но ответил он... О, это был замечательный ответ! Тогда мы не поняли по-настоящему, прошли годы, прошла жизнь, и, вспоминая, вдруг догадываешься: вот ведь сила никакого характера!

Он сказал, что рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им. Вдруг обнаружилась необыкновенная выгода такой позиции: он владел нашей тайной, не будучи полностью с нами. Когда мы сообразили это, было уже поздно. Мы оказались у него в руках. Помню, задумали новый поход в Дерюгинский переулочек и назначили день, но Батон сказал, что день не годится, надо перенести на неделю. Потом ещё на неделю, ещё на три дня, не объясняя причин, держась таинственно, и мы соглашались. Потому что он был наш, но не сегодня, но тогда без меня... Мы стали бояться, что он предупредит Миньку Быка и вся затея с внезапным захватом переулочка рухнет.

Чего мы хотели? Просто пройти вверх и вниз Дерюгинским переулочком, где увечили и обирали ребят нашего дома. И, если нападут, дать отпор. Лёвка Шулепа обещал взять оружие: немецкий пугач, который бухал, как настоящий револьвер. Наконец Батон сказал: такой-то день. Мы пошли часов в пять вечера. Когда подошли к Дерюгинскому подворью, увидели на втором этаже в окне бледную рожу Батона, и он нас тоже увидел и махнул рукой. Мы прошли весь переулочек, на нас никто не напал. Чёрная собака не показывалась. Какие-то пацаны, катавшиеся на салазках и на досках с горы посреди мостовой, не обращали на нас внимания. Мы постояли у одной подворотни, у другой, пираты не появлялись — ни Минька Бык, ни Таранька, никто. Шулепа стрельнул в воздух, мы ещё немного подождали и ушли. Все были разочарованы. Испытания воли не получилось. Ходили туда ещё раза два, но так же безрезультатно. Что случилось? Куда они разбежались? Это так и осталось неизвестным, а может быть, забылось с течением лет. В памяти нет ничего, кроме ощущения досады и странного чувства: будто всё это — для нашего неудовольствия и собственного покоя — подстроил Вадька Батон...

(По Ю.В. Трифонову*)

** Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981) — русский советский писатель, мастер «городской» прозы.*

Проблема: «Чем опасен «неопределенный» человек?»

14. Ещё не отгремели крики и аплодисменты, как становится ясно, что случилось страшное несчастье. На одном из канатов-лямок, за которые солдаты перед взлётом удерживали шар на земле, теперь явственно видно — висит человек! Немедленно по толпе бежит догадка: один из солдат не успел выпростать ноги из канатной лямки и его подняло вместе с шаром. На фоне светлого летнего неба шар поднимается всё выше и выше, неся двоих: один стоит в гондоле шара, другой висит на канатной лямке. Только что было шумно, радостно, люди кричали, аплодировали. Сейчас словно громадной крышкой прикрыло весь круг, на котором стоит толпа, и всё замолкло. Люди стоят, как оглушённые неожиданностью несчастья, молчаливые, растерянные. Что будет?

Затем сразу вспыхивают споры, догадки, предположения. Все разговаривают друг с другом, как знакомые. Каждый хочет услышать от другого что-нибудь ободряющее, утешительное.

— Папа, — шепчу я, — Древницкий не может спуститься с шаром обратно?

— Не может. Шар-то ведь неуправляемый. Не Древницкий его ведёт куда хочет, а шар несёт Древницкого по ветру...

— Ничего с Древницким не случится! — очень уверенно и громко говорит рядом с нами какой-то господин в элегантной шляпе-котелке, надетой чуть-чуть набок. Немедленно вокруг него образуется кольцо людей.

— По-вашему, всё кончится благополучно?

— Для Древницкого? Конечно! Сейчас он спустится с парашютом, и всё будет отлично.

— Вы думаете, Древницкий спустится с парашютом

— А как же иначе! — говорит шляпа-котелок. — Ведь он понимает не хуже нас с вами, что не воспользоваться сейчас парашютом — это же верная смерть! Нет, он спустится с парашютом!

— А солдат? — спрашивает папа, и я слышу по голосу, как он волнуется.

— Ну, солдату, конечно, аминь! — спокойно заявляет шляпа-котелок. — Древницкий спустится с парашютом, из шара вытечет последний воздух, и солдат загремит на землю.

С такой высоты, представляете?

— Значит, вы думаете, Фёдор Викторович, — спрашивает папа (он, оказывается, знает шляпу-котелок), — вы думаете, Древницкий бросит солдата на произвол судьбы? Погибай, мол, да.

— А конечное дело так! — раздаётся знакомый голос, и в группе людей, окружающих Фёдора Викторовича, мы видим Владимира Ивановича Шабанова. Мы не видели его с самого 1 мая, когда они поссорились с папой. Сейчас Шабанов смотрит на папу злыми глазами, хотя обращает свои слова не к нему, а к Фёдору Викторовичу. — Правильно рассуждаете, Фёдор Викторович! Спасти солдата Древницкий всё равно не может, а себя спасти может, если спустится с парашютом. Он это и сделает. Своя, знаете, рубашка ближе к телу... — заканчивает Шабанов со смешком.

Тут папа говорит, ни к кому не обращаясь:

— Есть две отвратительные поговорки: «Моя хата с краю!» и «Своя рубашка ближе к телу!». Если бы все думали так, человечество до сих пор жило бы в пещерах, одевалось в звериные шкуры и разговаривало ударами дубины!

В группе вокруг нас смех, сочувственный папе.

— Правильно! — говорит какой-то человек, пожимая папе руку. — Правильно, доктор!

— А в Древницкого я верю! — продолжает папа. — Он героический человек, он не станет усыплять свою совесть обывательскими поговорочками... И вон — смотрите! — шар ещё виден, маленький-маленький, как булавоочная головка... А никто с него с парашютом не спускается!

Проходит ещё минута, другая — булавоочная головка совсем исчезает из виду.

— Ну, друзья мои, — обращается к нам папа, — мне пора в госпиталь. А вы как? Я вам советую — побудьте здесь, в саду, ещё часок-другой. Здесь раньше всего станет известно, что с Древницким. Я из госпиталя тоже приеду сюда, к вам. Дома-то ведь мы от одной неизвестности истомимся!

Мы остаёмся в саду. Юлька дремлет на скамейке — она всё-таки пережила большое волнение, настолько сильное, что даже начала ходить. Сейчас она от всего этого скисла и заснула, положив голову на колени Анны Борисовны. Мы все тоже молчим. Большинство зрителей остались, как и мы, в Ботаническом саду: дожидаться известий о Древницком и солдате.

Ожидание тянется мучительно. Время от времени происходит ложная тревога, как на вокзалах, когда кто-нибудь кричит: «Идёт! Поезд идёт!» — и все бросаются подхватывать свои узлы и чемоданы. Так и тут: где-то кто-то что-то выкрикивает, все устремляются туда, а оказывается — одни пустяки. О Древницком и о солдате ни слуху ни духу. Как в воду канули.

Приезжает папа, сидит с нами, тоже томится.

И вдруг крик:

— Подъехали! Подъехали!

— Идут сюда!

Появление Древницкого и солдата вызывает целую бурю криков и аплодисментов. Их ведут на веранду ресторана. Сквозь толпу к папе протискивается какой-то человек:

— Доктор, пожалуйста, посмотрите, что с Древницким... Пожалуйста, за мной, на веранду... Пропустите, господа!

Толпа расступается, папа идёт на веранду ресторана, ведя за руку меня. Я иду за папой, ничего не видя, кроме Древницкого.

— Спасибо, доктор, — говорит папе Древницкий, — у меня пустяки, ссадины... А вот спутнику моему, солдату Путырчику, нужна помощь.

У Путырчика всё цело, ничего не сломано, не вывихнуто, но он какой-то странный. Неподвижный взгляд, как бы отсутствующий... Смотрит в одну точку. Он не сразу откликается даже на свою фамилию и будто не понимает, что ему говорят.

— Путырчик, друг, — говорит Древницкий, — нá, выпей — душа отгадет... Путырчик осушает рюмку, утирает губы краем ладони, но не становится ни веселее, ни живее.

— А как я тебе кричал, когда мы летели, помнишь?

Путырчик, помолчав, отвечает:

— Ваше благородие до мене кричали: «Держись крѣпчай! Не отпускай вяровку! Держись крѣпчай, а то пропадёшь...» — И ты держался?

— А як же ж! Сказано було: «Держись крѣпчай», — я й держаусь...

Путырчика увозят в казарму.

— Плох он, доктор? — спрашивает Древницкий.

— Не очень хорош, — соглашается папа. — Может, отойдёт, конечно... Но, видно, потрясение было чрезмерным.

Пока папа смазывает йодом и перевязывает ссадины на его руках, Древницкий рассказывает, что с ними произошло. Когда Древницкий обнаружил, что на петле висит солдат, он испугался, как бы солдат не выпустил из рук каната: он бы тогда сразу грохнулся на землю. Оттого он и кричал солдату всё время: «Держись крепче, не то пропадёшь!»

— Даже голос сорвал кричавши! — шутливо жалуется Древницкий.

Потом, когда из шара вытек весь воздух, пустая оболочка шара, похожая на выжатый лимон, стремительно падая, понесла их на землю. Вот тут им повезло: оболочка шара упала на деревья пригородного леса. Только это их и спасло...

— Честно говоря, — признаётся Древницкий, — я сегодня живым остаться не чаял!

— А почему вы не спустились с парашютом?

— Бросив солдата?! — В голосе Древницкого звучит удивление. — Бросив его одного на верную смерть? — И, помолчав, добавляет: — Нет. Я так поступить не мог.

Прощаясь с папой, Древницкий спрашивает:

— Сколько я должен вам, господин доктор?

— Вы с ума сошли! — сердится папа. — Неужели вы не понимаете, что вы меня оскорбляете!

— Милый, не надо! — обнимает его Древницкий. — Я же не хотел... Может, ещё увидимся когда-нибудь, я буду рад!

Он прощается и со мной. Вынув из петлицы завядшую белую розу, он дарит её мне. И мы уходим.

(По А.Я. Бруштейн*)

** Александра Яковлевна Бруштейн (1884–1968) — русская советская писательница, драматург и автор воспоминаний.*

Проблема: «Как поступать в экстремальной ситуации?»

15. — Здравствуйте, дети! — сказала Александра Георгиевна, входя в класс.

Она — высокая, полная, с тёмными, чуть тронутыми сединой волосами. Марина вместе со всем своим классом считает Александру Георгиевну очень строгой. На её уроках всегда спокойная и деловая обстановка. В прошлом году она замещала в их классе больную учительницу, и даже такие озорники, как Митя Каневский, вели себя сдержанно.

— Вы уже, наверно, знаете, — сказала Александра Георгиевна, садясь за свой стол, — что в этом году я буду у вас классной руководительницей. Преподавать я буду русский язык. Арифметику у вас будет преподавать Николай Николаевич Охотницкий, ботанику — наша новая, молодая учительница Лидия Александровна. И по всем остальным предметам у вас будут новые учителя.

Александра Георгиевна прошла между рядами, остановилась возле последней парты, посмотрела на Галю и Люсю и вернулась к своему столу. Все головы повернулись вслед за ней.

— Я вижу, вы все очень выросли, — сказала Александра, Георгиевна, снова садясь за стол. — Я ведь немножко знаю вас всех, — улыбнулась она, — и мне хочется поговорить с вами сегодня, как с большими, со взрослыми. Согласны?

Конечно, все были согласны.

— Ну так вот, поговорим. Вы учитесь в специальной школе — в музыкальной десятилетке. Наше государство даёт вам не только общее образование, но ещё и специальное. Вы получаете прекрасную специальность — музыку. Значит ли это, что, кроме музыки, вы не должны заниматься ничем?

Конечно, нет, и даже наоборот: с вас спросится больше, чем с других, так как вам больше и даётся.

Вот в прошлые годы окончили наш музыкальный институт многие студенты, бывшие наши школьники. Они поехали в разные города, в большие колхозы и совхозы работать — давать концерты, руководить самодеятельностью и преподавать. Ваша бывшая вожатая, Вера Мельчук, тоже начала работать в этом году...

В классе поднялось сразу несколько рук. Александра Георгиевна улыбнулась:

— Знаю, знаю, о чём вы хотите спросить: где она работает и кем. Я угадала? Ну, опустите руки... Вера Львовна работает в новой, недавно открытой музыкальной школе при тонкосуконной фабрике имени Калинина. Она ведёт скрипичный класс и заведует учебной частью.

Как вы думаете — можно работать в школе при большой фабрике, уйдя, как улитка, в свою раковину и ничем, кроме своей специальности, не интересуясь? Конечно, нет! Я думаю, что Вера Львовна будет интересоваться и общеобразовательными успехами своих учеников и ещё очень многим, для чего ей пригодятся все её знания. Но её работа ещё впереди. Надеюсь, мы всё будем знать о ней... Теперь подумайте ещё: нужны ли знания для самой музыки? Сможет ли правильно понять и глубоко прочувствовать музыкальное произведение человек некультурный, незнающий? Сможет ли он передать его слушателям так, как задумал композитор? Не сможет? И я так думаю. Его исполнение всегда будет поверхностным, в нём не будет настоящей глубины.

Я говорю вам об этом, дети, потому, что в прошлом году в вашем классе замечались такие настроения: я, мол, музыкант, зачем мне арифметика?

Кто-то засмеялся.

— Да, — серьёзно сказала Александра Георгиевна, — было такое дело с арифметикой. А попробуйте-ка без арифметики разобраться в ритмически сложной пьесе!

И она почему-то взглянула на Марину.

«Всё знает! — подумала Марина. — Только кто же ей сказал, что я отстаю по арифметике?»

— Да и какие вы ещё музыканты! — продолжала Александра Георгиевна. — Вы ещё ученики! И, вероятно, не такие уж прилежные. По крайней мере, некоторые из вас. Не правда ли?

Александра Георгиевна улыбнулась, и весь класс засмеялся вместе с ней.

— Боритесь со своей ленью, дети, — уже серьёзно продолжала она. — Только упорный труд может сделать из вас настоящих музыкантов. А музыка звучит по всему миру, её, как знамя, несут наши юноши и девушки к далёким друзьям всех народов. Александра Георгиевна помолчала и обвела глазами класс. На всех лицах было внимание. У Марины Петровой покраснело лицо. Мая Гитович слушает сосредоточенно и серьёзно. А на последней парте внимательно слушают две такие разные девочки, из которых одна, как знает Александра Георгиевна, не ленится почти никогда, а другая — почти всегда.

И Александра Георгиевна продолжает:

— Мне хочется вам напомнить сегодня о великих русских музыкантах. Вспомните Бородина — он был одним из образованнейших людей своего времени. Замечательный русский композитор был в то же время учёным-химиком.

Вспомните Римского-Корсакова, Чайковского... Наши великие русские музыканты были дружны с великой русской наукой и литературой.

Александра Георгиевна снова прошлась по классу, внимательно глядя на притихших ребят.

— Я хочу вам напомнить ещё о большой дружбе, — сказала она, останавливаясь возле Марининой парты. — Вы ведь знаете, ребята, как дружили композиторы Могучей кучки — Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин... Успех каждого из них радовал всех, неудача всех огорчала. Они помогали друг другу во всём... Я вам очень советую, дети, беречь свою дружбу. Она вам поможет и в жизни и в учёбе.

И Гале и Марине показалось, что эти слова были обращены к ним, Галя опустила голову, а Марина покраснела.

Но Александра Георгиевна на них даже не взглянула.

— А теперь я познакомлю вас с расписанием и раздам дневники, — сказала она. — У кого ещё нет учебников?

Поднялось несколько рук. Начался деловой школьный день — первый день нового учебного года. Он был открыт классной руководительницей, давно знакомой всем Александрой Георгиевной, как-то необычно, и почти все её ученики почувствовали, что они выросли и что этот школьный год не будет похож на прежние.

(По Э.М. Эмден*)

** Эсфирь Моисеевна Эмден (1905–1961) — русская советская писательница, автор книг для детей, литературный редактор.*

Проблема: «Должен ли человек, занимающийся искусством, сосредоточиться только на своей специальности?»

16. Зазвонил телефон, несчастный и требовательный женский голос сказал, что это звонит Баранова, она знает, что Фёдор Фёдорович уезжает на фронт; но она звонит в третий раз, теперь с угла, из автомата, и он не вправе отказаться поговорить с ней десять минут!

Он не позволил себе отказать ей:

— Приходите, жду вас.

Женщина, которой он через несколько минут открыл дверь, была ещё не стара, одета в форму военного врача. Он помог ей раздеться, посадил за стол и предложил чаю. Но она поспешно отказалась, посмотрела на большие мужские ручные часы и сказала, что отнимет у него ровно десять минут, как и предупредила по телефону.

Что её муж погиб, она знает уже месяц, и уже месяц, как её старший сын, которому восемнадцать лет, узнав о гибели отца, ушёл добровольцем на фронт, и она одобрила это.

Ей сообщили число, когда погиб муж, — 4 сентября...

— Но я только вчера, после долгих звонков, пошла к... — она назвала фамилию Ивана Алексеевича, — в надежде, что такой человек, как он, может знать больше других. И он действительно сразу же сказал, что муж выходил из окружения с вами, и рекомендовал обратиться к вам.

«Навязал крест и мне и ей на шею», — подумал Серпилин с долей сочувствия к этой независимо державшей себя женщине.

Серпилина было нелегко пронять, он верил сдержанным чувствам и сейчас в напряжённо звеневшем голосе женщины и в её глазах читал больше горя, чем если бы она разливалась тут перед ним слезами.

— Да, — сказал он вслух, — мы действительно вместе выходили. Он говорил медленно, обдумывая тем временем сразу два вопроса: что ей сказать и что ей уже сказали? Сведения о гибели Баранова могли исходить только из уст Шмакова и из тех строевых списков, которые он сдал по выходе из окружения. Но включал ли Шмаков туда какие-нибудь пояснения или не включал и что ей сказали, этой женщине: то, что она говорит, или больше? Пожалели её, и в самом деле она не знает? Или знает больше того, что говорит, а у него, Серпилина, хочет проверить? Всё это было одинаково возможно и не противоречило искренности горя, которое он слышал в голосе женщины.

— Действительно, выходили вместе, и погиб он действительно четвёртого сентября. — Серпилин всё ещё до конца не решил, как говорить с ней, но она услышала еле заметное колебание в его голосе.

— Расскажите мне, пожалуйста, правду, всё, как было! Мне это важно, а главное, это хотят знать сыновья, прежде всего старший. Я обещала написать ему на фронт. Но именно теперь, когда она сказала «скажите всю правду» и снова упомянула о сыне, Серпилин решил не говорить ей правды — ни всей, ни половины, ни четверти. Он сказал, что встретил её мужа в конце июля, когда выходил со своей частью лесами из Могилёва на Чаусы, что муж её в условиях окружения, как и некоторые другие командиры, — эту фразу Серпилин выговорил с трудом, хотя она была только частичной ложью, — воевал рядовым бойцом и погиб четвёртого сентября, в самом начале боя, разыгравшегося в ту ночь при переходе шоссе. Сам он, Серпилин, не видел, как это произошло, но ему сообщили, что Баранов погиб смертью храбрых... Снова сделав над собой усилие, он сказал это не столько для неё, сколько для её сына, которому она будет писать на фронт.

— Так что, как видите, к сожалению, мало что могу добавить. У меня было там под командой полтысячи людей, и я не могу помнить все подробности о каждом. Шли мы тяжело, со многими боями и потерями, а в последнем бою, когда уже соединились, потеряли половину людей. Вам, конечно, от этого не легче, но в живых из нас вообще осталось меньшинство...

— Может быть, вы чего-нибудь не договариваете? — Она испытующе посмотрела на Серпилина.

Сначала ему показалось, что его выдал тон, которым он говорил о Баранове, — но нет, кажется, он сдержался. Потом он подумал: может быть, её поразило, что муж — полковник — был у него, Серпилина, простым бойцом?

Но, продолжая смотреть ей в глаза, он понял, что правдой было не то и не другое. Просто она знала или угадывала в своём муже что-то такое, что заставляло её бояться за него. Как видно, она любила его, но при этом боялась: какой он будет там, на войне? Она надеялась узнать о муже хорошее, для этого и пришла, и в то же время в глубине души боялась узнать плохое. А сейчас, когда Серпилин замолчал, заподозрила, что это плохое всё же было и лишь осталось несказанным.

— Может быть, вы всё-таки чего-то не договариваете мне? — повторила она.

«Может быть, может быть...» — мысленно сказал он. Но вслух ответил, что нет, он рассказал всё, как было, и пусть она напишет об этом сыну.

«Главное всё же не она, а сын!» — ещё раз подумал он.

На этот раз, кажется, она поверила.

— Я буду писать сыну и сошлюсь на вас.

— Что ж, ссылайтесь, — сказал он.

А про себя подумал: чёрт его знает, наверное, в этом ненавистном ему Баранове было что-то такое, за что его и сейчас ещё любит такая, как видно, хорошая женщина.

Он проводил её в переднюю и подал шинель. Она поблагодарила и ушла.

— Уже ушла? — входя, спросила Валентина Егоровна.

— Ну как, всё ей сказал? — не удержалась она.

— Ничего я ей не сказал! — недовольно ответил Серпилин. Он не хотел больше разговаривать на эту тему. — Сказал, что пал смертью храбрых.

— Не знала прежде за тобой привычки врать, — непримиримо сказала Валентина Егоровна.

— А ты полегче на поворотах! — рассердился Серпилин. — Сын пошёл добровольцем на фронт, мстить за отца. Так за кого же прикажешь ему мстить? За труса?

— А разве, кроме как за его дорогого отца, мстить не за кого? Если бы его отец был жив, значит, сыну можно не на фронт, а за Урал ехать? Не согласна!

(По К.М. Симонову*)

** Константин Михайлович Симонов (1915–1979) — русский советский писатель, поэт, общественный деятель, автор произведений о Великой Отечественной войне, среди которых «Живые и мёртвые», «Дни и ночи», «Солдатами не рождаются» и др.*

Проблема: «Допустима ли ложь во спасение?»

17. С детских лет одна страсть завладела мной - любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из Брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я худел на глазах и не спал по ночам. Я скрывал это свое состояние от окружающих. Уже давно я убедился, что, кроме недоумения, оно ничего не вызывает. Это было как раз то «несерьезное», что, по мнению близких, коренилось во мне и мешало мне жить.

Как я мог объяснить им, что в этом моем ощущении природы было нечто большее, чем удивление перед ее Совершенством, что это было не бесцельное любование, а сознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил. Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека.

Я вспомнил об этом сейчас потому, что осенью 1914 года я с особой остротой испытывал чувство содружества с природой. Она тоже была поставлена под удар войны, но не здесь, в Москве, а там, на западе, в Польше, и от этого любовь к ней становилась сильнее и все больше щемила сердце.

Я смотрел, как дым из трубы «паровичка» обволакивал желтеющие рощи. По вечерам за ними слабо горело голубоватое зарево Москвы. Видение этих подмосковных рощ вызывало множество мыслей о России, Чехове, Левитане, о свойствах русского духа, о живописной силе, таившейся в народе, его прошлом и будущем, которое должно быть и, конечно, будет совершенно удивительным. Дома уже все спали. Даже в комнате Захарова было темно. Я лег у себя на полу. Слабый фонарный свет падал в комнату.

Я лежал и думал о больном наборщике из Кашина. Мысли эти не вызывали у меня горечи, а, наоборот, спокойствие. По стране и таланты! Сколько их, этих талантливых людей, по городам и селам России знает! Десятки или сотни тысяч? Сколько ума, выдумки, «золотых рук» они приложили к тому, чтобы обрядить, обогатить, воспеть и прославить свою страну.

Наборщик, конечно, прав. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света шум и тень садов, неясность сна, тяжелое гроыханье грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Легко думать по городским ночам, когда с товарных станций, с запасных путей и вокзалов доносятся гудки паровозов да изредка прогремит по булыжной мостовой извозчичья пролетка.

(По К.Г. Паустовскому)

** Константин Георгиевич Паустовский (1892 – 1968) – русский писатель, сценарист и педагог, журналист, военный корреспондент, переводчик.*

Проблема: «Как человек воспринимает природу?»

18. Все были в сборе. Не было только Барабасика.

— Барабасика не будет: он в госпитале, — сообщил лейтенант Велихов. — Приболел что-то наш Барабасик. Доктор говорит — воспаление.

— Жа-а-аль, — произнёс кто-то в темноте, и я узнал густой протяжный бас Окишева. — Скучно без Яши будет. И сам он страдать станет, если узнает.

— Конечно, очень скучно без Яши, — печальной скороговоркой отозвался Ваню, грузин.

Разведчики Рыбачьего полуострова — самой северной точки фронта — отправлялись в ночной налёт на берег, занятый немцами. Маленький рыбачий бот знаменитого североморского десантника — разведчика Петра Велихова был готов к отплытию. Разведчики рассчитывали, пользуясь тёмной полярной ночью, напасть на гарнизон, взорвать склад, уничтожить огневые точки противника, захватить «языков». Велихов с десятком своих десантников уже не раз ходил в такие дела.

Маленький корабль разведчиков снискал большую славу у защитников Рыбачьего полуострова, отрезанного немцами от Большой земли. Его называли «ботик Петра Велихова» и добавляли при этом, что ботик нашего Петра Велихова, правда, не дедушка русского флота, но, несомненно, его внучек...

Велихов занял своё место в крохотной рубке. С моря дул пронизывающий ветер. И от самого Северного полюса до нас ничего не было у ветра на пути... Ночная пустыня Арктики касалась нас своим чёрным ледяным краем.

Прозвучала тихая, вполголоса, команда. Почти бесшумно заработал включённый дизель — выхлопы его были отведены под воду. Дрогнула палуба под ногами — мы отваливали. Но в это мгновение какой-то маленький человек, еле видимый в темноте, прыгнул из берегового мрака.

— Барабасик! Яша! — радостно узнали разведчики, окружая в темноте неожиданного пассажира. — Откуда ты? С неба, что ли, спрыгнул?

— Почему с неба? Вы считали, что Барабасик уже на небе? Оставьте ваши шутки! Я уже здоров. Такой товар не залёживается. Доктор выписал меня вчистую... Товарищ лейтенант, разрешите доложить... — Он вытянулся перед Велиховым, приложив руку к пилотке. — Возвращаюсь по излечению, материальная часть в порядке, настроение бодрое. Прибыл с опозданием, но, как говорили у нас в Мелитополе, лучше поздно, но «да», чем рано, но «нет».

— Погодите, — прервал его лейтенант, — а вы не рано с постели вскочили? Ведь у вас, доктор говорил...

— Хорошенькое «рано», товарищ лейтенант! Что же мне было — дожидаться, когда вы уже без меня до самого мыса дойдёте?

— Ну ладно, ладно, — сказал Велихов, — болтаете много. Пусть Окишев познакомит вас с заданием.

Громоздкий, широколапый, как медведь, Окишев и маленький Барабасик, сев на носу у зенитного пулемёта, негромко разговаривали между собой.

Над морем взошла луна, наполнив пространство глухим свинцовым блеском, и я рассмотрел бледное подвижное, совсем ещё мальчишеское лицо Барабасика, сдвинутую на ухо пилотку и лихорадочно горящие глаза. Барабасик, поёживаясь от холода, с неодобрением смотрел прямо на луну.

— Что вы скажете, шарик опять вышел на полную мощность! Просили мы, чтоб он светил на нас в эту ночь? Фрицы же увидят нас, как в хорошем кино...

Большая волна ударила в борт и обдала нас с ног до головы ледяными брызгами. Все вскочили, отворачиваясь от холодных шлепков воды.

— Но, но, — прикрикнул на волну Барабасик, не трогаясь с места, — нельзя ли поосторожнее? Тут же публика.

— Ох, чудак этот Яшка, его ничего не берёт! — говорили, тихо смеясь в темноте, разведчики, и каждый норовил ближе подсесть к шутнику.

А Барабасик уже мурлыкал тихонько, про себя, какую-то песенку: «На пароходе я плыла в Одессу морем раз... Погода чудная была, вдруг буря поднялась...»

— Отставить пение! — негромко приказал Велихов. — Разговорчики прекратить. Товарищ Барабасик, довольно вам травить, соблюдайте тишину.

Но Барабасик всё же успел рассказать мне шёпотом, пока мы шли к неприятельскому берегу, что его мать и младшего брата немцы расстреляли в Крыму и фрицы будут помнить его, Якова Барабасика. Он уже тринадцать раз ходил к немцам в тыл, и ещё не таких он им дел наделает! Большие глаза его мрачно блеснули при этом, и он пощупал матросский нож, висевший на поясе.

Мы подходили к вражескому мысу.

— Воображаю, сколько здесь фаршированной рыбы! — шепнул Барабасик.

— Почему фаршированной, Яша? — спросил Ваню, уже предвкушая остроту.

— Почему фаршированной? А потому, что здесь уже много фрицев к рыбам на закуску отправлено. Так что тут каждая рыба заранее уже нафарширована фрицем.

Но вот все застыли в тщательно оберегаемом молчании. Ботик наш нырнул в синий мрак тени, которую отбрасывали скалы мыса. Двигатель заработал ещё тише. Мы подходили. Велихов знаком приказал готовиться к высадке.

Прошла минута. Другая. Бот остановился совсем. На скалы были бесшумно спущены сходни, и тут я увидел, что Яков Барабасик рывком расстегнул ворот на груди: под курткой оказалась полосатая фуфайка — матросская тельняшка «морская душа».

— А ну, — почти неслышным шёпотом произнёс Барабасик, — а ну, ребята... Как у нас в двадцатом году пели: «Нет ни папы, нет ни мамы... Тридцать, сорок и четыре... Севастополь, Симферополь, Крым, Одесса, Мелитополь...» Даёшь ходу!

И, едва дождавшись команды, с ножом-бебутом в одной руке, с гранатой в другой, минуя сходни, он прыгнул с борта в чёрную, обжигающую морозом воду у берега.

Сначала всё было тихо. Немцы не заметили нас. Велихов выбрал хороший момент для высадки, дождавшись, когда луна зашла за облако. Барабасик в темноте добрался вместе с пятью товарищами до блиндажа, прыгнул сзади на часового, зажал ему рот, ударил ножом и, перешагнув через упавшего, ворвался первым внутрь землянки. Там, в блиндаже, произошла молчаливая и жестокая схватка. Немцы не успевали даже вскрикнуть со сна. Пятеро из них были мгновенно убиты. Трёх с заткнутыми ртами погнали к боту. Но в соседней землянке проснулись. Солдаты выбегали в одном белье, стреляли во все стороны

из автоматов, припадая за камни. Взвились тревожные ракеты. Откуда-то из-за скал ударили по нас миномёты. В воде, возле самого борта, визжа и рыча, взметнулись кипящие пенные столбы. Надо было уходить.

На берегу грохнули четыре мощных взрыва. Багровые зарницы пронизали ночь. С шумом осыпались камни. Это разведчики гранатами подорвали склад боеприпасов, рванули мины под береговыми орудиями.

Дело было сделано. Отстреливаясь, разведчики спешили к боту, на котором был уже запущен двигатель. Двоих наших раненых принесли на руках товарищи. «Языков» уложили в трюме. Теперь все были на борту. Можно было уходить. Но опять не оказалось Барабасика.

Окишев, Ваню и ещё один разведчик, проклиная Барабасика и его вредный характер, из-за которого вечно всем одно беспокойство, кинулись на поиски пропавшего.

Разрывы мин слепили и оглушали нас. Осколки в двух местах продырявили рубку нашего кораблика.

Вдруг Велихов закричал:

— Вот он, чертяка!

И при свете луны мы увидели маленькую фигурку Барабасика. Он вёл огромного полураздетого обер-лейтенанта. Барабасик подгонял его сзади, тыча рукояткой ножа в поясницу:

— А ну, ходи веселее, не играй на моих нервах, не действуй мне на характер!

Когда мы были уже далеко в море и луна, спрятавшаяся было за набежавшие тучи, снова растворилась в своём зеленоватом свечении мрак полярной ночи, я заметил, что грудь и лицо Барабасика залиты кровью.

— Вы ранены?

— А, чистый пустяк! — заворчал он. — Это большею частью даже не моя кровь. Это я там в землянке у них... замарался...

Внезапно он замолчал, пошатнувшись, и быстро присел на палубу. Я наклонился к нему. Меня обдало горячим жаром, исходившим от него. Он был совершенно болен, наш Барабасик!

Первым, кого мы увидели на своём берегу, был негодующий врач. Он накинулся на нас и на Барабасика, который сам уже не мог стоять на ногах от слабости. И мы узнали, что Барабасик просто-напросто удрал из госпиталя, услышав, что разведчики собрались без него в поход.

На следующее утро вместе с Велиховым, Окишевым и Ваню мы отправились в госпиталь навестить Барабасика. Мне захотелось узнать у моряков-разведчиков некоторые подробности о Барабасике.

— Он наш, кавказский, — убеждённо сказал мне Ваню. — С Чёрного моря.

— Кто это его тебе на прописку дал, — возразил Окишев, — когда он из наших краёв! Хотя, может, и не природный, да на строительстве работал у нас, в Сибири.

— Там разберёмся, кто и откуда, когда после войны домой поедет, литеры на проезд будем брать, — проговорил лейтенант Велихов. — Пишите, в общем: парень-герой, рождения тысяча девятьсот двадцатого года, родом из наших, комсомольского племени, североморского звания...

(По Л.А. Кассилью)

** Лев Абрамович Кассиль (1905 – 1970) – русский советский писатель, сценарист.*

Проблема: «Как обычный человек остается мужественным и стойким во время войны?»

19. (1)Чехов приходит к нам в детстве и сопровождает нас всю жизнь: так же, как Свифт, Сервантес, Пушкин, Толстой. (2)Это качество гениев.

(3)Детьми нас поражает история рыжей собачки, похожей на лисицу, помеси таксы с дворняжкой (помните смерть гуся, бедного гуся Ивана Ивановича? Помните, помните! То, что потрясло в детстве, - не забывается), и путешествие Белолобого в волчью нору, и ужасный, непоправимый поступок мальчика Ваньки Жукова, который писал письмо «на деревню дедушке», и, конечно, это письмо не дойдет. (4) Это - на заре жизни. (5) Каждая книга открывается, как неизведанный мир, и мир открывается, как книга.

(6) В Чехове необыкновенно не только то необыкновенно простое, о чем он рассказывает, но и сам тон его рассказов. (7) Он разговаривает с нами, как со взрослыми, то печально, то с улыбкой, и никогда ничему не поучает. (8) Вот это особенно приятно.

(9) Потом наступает увлечение Антошей Чехонте, Чеховым «Осколков» и «Будильника». (10) Нет ничего смешнее маленьких рассказиков, где одни разговоры - но какие! (11) Ах, что за удовольствие читать вслух про глупых чиновников, смешных помещиков, жалких актеришек, крестьян с куриными мозгами! (12) А бесчисленные дачники, гувернантки, гимназисты, женихи, кухарки, тетки, городовые, с которыми случаются такие уморительные истории с неожиданными концами! (13) Ведь это смешно, когда ловят налима. (14) Кучер Василий лезет в воду: «Я сейчас... Который тут налим?»

(15) Чехов - любимый писатель юности. (16) Он и сам юн, когда создаются эти шедевры юмора, любит шутку, веселье, выдумка его неистошима, он работает упоенно, с блистательной быстротой...

(17) Мы становимся старше, и меняется наша любовь к Чехову. (18)Она меняется всю жизнь. (19) Она вырастает тихо и незаметно, как куст сирени в саду. (20)Уже не «Заблудшие», не «Пересолил» восхищают нас, а поэтичный «Дом с мезонином», грустный и трогательный «Поцелуй», рассказ о даме с собачкой, о доброй Ольге Семеновне, которую все называли душечкой, об учителе Беликове.

(21) А потом нам открывается бескрайний, ошеломляющий простор «Степи», мы угадываем затаенные глубины в «Крыжовнике», в «Мужиках», в «Ионыче», понимаем «Скучную историю», понимаем «Студента».

(22) Нас пленяет театр Чехова.

(23) И ещё остаются его письма, которые можно читать долго, до конца жизни, и до конца жизни будет длиться наше узнавание Чехова. (24)И будет расти, расцветать наша любовь к нему.

(25) Чехов совершил переворот в области формы. (26) Он открыл великую силу недосказанного. (27) Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости.

(28) Чехов писал не о человечестве, но о людях. (29) Его интересовало не бытие человека, а жизнь его. (30) Жизнь одного конкретного человека. (31) Он делал эту работу с гениальным изяществом, с непоколебимой смелостью и с великим желанием сделать человека счастливым.

(32) Холодным осенним вечером, у костра, студент Иван Великопольский рассказывает двум крестьянским женщинам историю про то, как Петр предал Христа во дворе первосвященника. (33) Для студента Петр не евангельская фигура, а живой человек, который плачет над своей слабостью. (34) «И исшед вон, плакася горько». (35) Женщины

взволнованы рассказом, одна из них, старуха Василиса, тоже заплакала – а ведь какое ей дело до событий, произошедших девятнадцать веков назад? (36) И студент подумал, что «прошлое связано с настоящим неопределенной цепью событий, вытекающих одно из другого. (37) И ему показалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

(38) Так же как студент у костра, Чехов сумел в своем творчестве дотронуться до незримой цепи, связующей поколения, и она задрожала от него, от его сильных и нежных рук, и все еще дрожит, и будет дрожать долго...

(39) В самом деле, разве не удивительно: нам понятны и близки мысли и чувства чеховских героев! (40) Ведь наша страна изменилась неузнаваемо, изменились нравы, быт людей, строй жизни, весь мир, нас окружающий. (41) И однако – как близки, как понятны! (42) Но не щемящая сердце грусть, не безнадежная мечтательность чеховских героев делают их такими близкими. (43) Нас волнует другое. (44) Мы чувствуем исходящий из чеховских рассказов и пьес страстный призыв: «Люди, сделайте лучше! Будьте добрее, красивее, чище! Станьте счастливыми!»

(45) Этот призыв к совершенству и счастью, окрыляющий все творчество Чехова, будет волновать людей всегда. (46) Ибо всегда человек будет стремиться стать лучше.

(По Ю.В. Трифонову)

** Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981) – советский писатель, переводчик, прозаик, публицист, киносценарист.*

Проблема: ««В чём причина всемирной любви к Чехову?»»

20. (1)В то время как я подходил к другой хижине, послышался шорох. (2)Оглянувшись в направлении, откуда слышался шорох, увидел в недалёких шагах как будто выросшего из земли человека, который поглядел секунду в мою сторону и кинулся в кусты. (3)Почти бегом пустился я за ним по тропинке, размахивая красной тряпкой, которая нашлась у меня в кармане. (4)Оглянувшись и видя, что я один без всякого оружия и знаками прошу подойти, он остановился. (5)Я медленно приблизился к дикарю, молча подал ему красную тряпку, которую он принял с видимым удовольствием и повязал её себе на голову. (6)Папуас этот был среднего роста, тёмно-шоколадного цвета, с матово-чёрными, курчавыми, как у негра, короткими волосами, широким сплюснутым носом, глазами, выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом, почти, однако же, скрытым торчащими усами и бородою. (7)Весь костюм его состоял из тряпки шириною около 8 см, повязанной сначала в виде пояса, спускавшейся далее между ног и прикреплённой сзади к поясу, и двух тесно обхватывающих руку над локтем перевязей, род браслетов из плетёной сухой травы. (8)За одну из этих перевязей или браслетов был заткнут зелёный лист, за другую на левой руке — род ножа из гладко обточенного куса кости, как я убедился потом. (9)Хорошо сложен, с достаточно развитой мускулатурой.

(10)Выражение лица первого моего знакомого показалось мне довольно симпатичным; я почему-то подумал, что он будет меня слушаться, взял его за руку и не без некоторого сопротивления привёл его обратно в деревню. (11)На площадке я нашёл своих слуг, Ульсон и Бой меня искали и недоумевали, куда я пропал. (12)Ульсон подарил папуасу кусок табаку, с которым тот не знал, что делать, и, молча приняв подарок, заткнул его за браслет правой руки.

(13)Пока мы были среди площадки, из-за деревьев и кустов стали показываться дикари, не решаясь подойти и каждую минуту готовясь обратиться в бегство. (14)Они молча и не двигаясь стояли в почтительном отдалении, зорко следя за движениями путешественников.

(15)Так как они не трогались с места, я должен был каждого отдельно взять за руку и притащить в полном смысле слова к нашему кружку. (16)Наконец, собрав всех в одно место, усталый, сел посреди них на камень и принялся наделять разными мелочами: бусами, гвоздями, крючками для ужения рыбы и полосками красной материи. (17)Назначение гвоздей и крючков они, видимо, не знали, но ни один не отказался их принять.

(18)Так как солнце уже село, я решил, несмотря на интерес первых наблюдений, вернуться на корвет, вся толпа проводила меня до берега, неся подарки: кокосы, бананы и двух очень диких поросят, у которых ноги были крепко-накрепко связаны и которые визжали без устали; всё было положено в шлюпку. (19)В надежде ещё более укрепить хорошие отношения с туземцами и вместе с тем показать офицерам корвета моих новых знакомых, я предложил окружившим меня папуасам сопровождать мне к корвету на своих лодках.

(20)После долгих рассуждений человек пять поместились в двух лодках, другие остались и даже, казалось, усиленно отговаривали более отважных от смелого и рискованного предприятия. (21)Одну из лодок я взял на буксир, и мы направились к «Витязю». (22)На полдороге, впрочем, и более смелые раздумали, знаками показывая, что не хотят ехать далее, старались отдать буксир, между тем как другая, свободная лодка быстро вернулась к берегу. (23)Один из сидевших в лодке, которую мы тащили за собою, пытался даже своим каменным топором перерубить конец, служивший буксиром. (24)Не без труда удалось втащить их на палубу: Ульсон и Бой почти что насильно подняли их на трап.

(25)На палубе я взял «пленников» под руки и повёл; они от страха тряслись всем телом и не могли без моей поддержки держаться на ногах, полагая, вероятно, что их убьют. (26)Между тем совсем стемнело, был принесён фонарь, и дикари мало-помалу успокоились, даже повеселели, когда офицеры корвета подарили им разные вещи, угостили чаем, который они сразу выпили. (27)Несмотря на такой любезный приём, они с видимым удовольствием и с большою поспешностью спустились по трапу в свою лодку и быстро погребли обратно к деревне.

(По Н.Н. Миклухо-Маклаю)

** Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1912) – российский этнограф, антрополог, биолог, путешественник и просветитель.*

Проблема: «Какими качествами должен обладать настоящий учёный-географ?»

21. (1)Однажды Александр Иванович Куприн в разговоре о великом Льве Николаевиче Толстом выразился таким образом: «Старик нас всех обокрал: за что ни возьмёшься — уж им написано». (2)Шутливость замечания этого очевидна, и всё-таки так велико, так разнообразно художественное наследие Толстого, так разносторонне, на протяжении полувека изображена им жизнь русского общества, что, заменив слово

«обокрал» словом «предупредил», приходится согласиться с А. И. Куприным по существу дела.

(3) Толстым не оставлено без внимания ни малейшее душевное движение человеческое. (4) Читая «Анну Каренину», с изумлением, с подавленностью убеждаешься, что здесь изображена главным образом вся русская жизнь того времени, вся русская душа в её целом, а уж затем, в огромном узоре этом, в этой сплошной толпе лиц, страданий, судеб, уделяешь необходимое внимание собственно романтической интриге.

(5) Толстой как художник является демократом в самом возвышенном значении этого слова. (6) Он демократичен, как солнце. (7) Сила и равномерная страстность художественного проникновения одинакова у него для мужика и царя, пьяницы и священника, светской дамы и простой русской женщины. (8) Одно прикосновение творческого внимания Льва Николаевича делает всех людей одинаково прозрачными. (9) Толстой, как никто, совершенно лишён оттенков отношения к своим персонажам в смысле их социального положения или рода их деятельности.

(10) У него отсутствуют (чего не избегали подчас крупнейшие таланты) социальная мистика и социальная обывательская щепетильность. (11) Он пленительно суров и бесцеремонен в раздевании душ.

(12) Страсти, заблуждения, страдания, удовольствия и подлости человеческие вытекают из одних и тех же духовных явлений, причём кого бы он ни описывал: князя или полудикого черкеса, казака или Николая I. (13) Благодаря великой простоте выражения, описания человеческих жизней со всеми их внутренними пружинами читатель неизменно убеждается в тождественности духовной основы всех людей и вместе с Толстым видит, как жалки все ухищрения, все разделения, искусственны все различия одежд, званий, чинов, занятий. (14) Вообще человек, а не человек именно такой-то изучается и понимается читателем в книгах великого писателя.

(15) Особенность художественного таланта Л. Н. Толстого, его эта беспощадная сила реального изображения в связи с огромной любовью к жизни во всех видах её и окрасках, его плодовитость и ревнивое отношение к каждому слову, имевшее целью наибольшую, совершеннейшую полноту впечатления, сделали то, что действительно после Толстого осталось немного (если только осталось) в жизни, почему-либо не охваченного его волшебным пером.

(16) Без преувеличения можно сказать, что жизнь и творчество Толстого равны силой своей целой революции. (17) Тот возвышенный демократизм художника, о котором упомянули мы выше (кстати, единственно истинный демократизм), из года в год, из поколения в поколение оставляя свой мощный след в читательских массах, привёл к тому, что слова «Толстой», «толстовство» стали синонимами гуманности, возвышенного отношения к жизни, человечности и самоусовершенствования.

(18) Сама жизнь Толстого, столь удивительная и сложная, является одним из наиболее глубоких и ценных его произведений. (19) Он был близок к природе и звал к ней. (20) Вспоминая Толстого, в сущности, вспоминаешь Россию, народ, общество, исторические их судьбы, вспоминаешь даже всю русскую литературу.

(21) Толстой — это Россия. (22) Россия в настоящее время остро нуждается в Толстом. (23) Её лик преображается. (24) Потому-то хорошо и нужно всем нам вспомнить от Л. Н. Толстого о том, какая она, эта Россия, в своём духе и сущности, в целях своих и силах, чтобы, оглянувшись на великое и прекрасное, идти вперёд с надеждами и верой в лучшее.

(По А. Грину)

**Александр Степанович Грин (1880—1932) – русский писатель, автор философско-психологических произведений с элементами фантастики. В числе самых известных его книг — «Бегущая по волнам» и «Алые паруса».*

Проблема: «Можно ли назвать Толстого-художника демократом?»

22. (1)В нашем доме живёт мальчик. (2)Мы познакомились с ним, когда я выносил во двор оставшиеся после ремонта провода и изоляторы. (3)У него загорелись глаза. (4)Он забрал у меня всё. (5)А потом как-то мне понадобился напильник, и я пошел к нему. (6)С тех пор всегда обращаюсь к нему, когда мне нужна техпомощь. (7)В одной из двух комнат маленькой квартиры оборудован его рабочий уголок. (8)С потолка спускаются авиационные модели. (9)И вентилятор у него на столе самодельный. (10)А под столом бегают фантастический вездеход собственной конструкции.

(11)Родители относятся с уважением к техническим поискам сына. (12)На него не кричат, когда он приносит домой шурупы, гайки, обрезки жести. (13)Ему не говорят: «(14)Зачем мусору натаскал!». (15)Родители понимают: для него это не мусор. (16)Без этого он не сумеет мастерить машины. (17)Как знать, может быть, и создавать своё будущее!

(18)Не всякая семья может пойти навстречу желаниям и интересам ребёнка. (19)Родители великого английского ученого Фарадея отдали его в ученики к переплётчику потому, что не имели возможности дать ему образование по способностям, да и просто не могли понять, к чему стремится их сын. (20)Но когда высокообразованные и обеспеченные люди, какими были родители замечательных русских биологов Ковалевских, сделали всё, чтобы помешать детям заниматься естественными науками, они поступили так не потому, что не имели возможности дать им естественнонаучное образование, а потому, что считали: детям не пристало самим определять выбор своего пути.

(21)Фарадею не в чем было упрекнуть своих родителей. (22)А вот Ковалевским, вероятно, было в чём своих родителей упрекнуть!

(23)Мы тревожимся, когда наши дети сдают экзамены. (24)Но ведь и нам не следует забывать о трудном экзамене, который мы держим перед своими детьми, помогая или не помогая им правильно определить свой путь, объясняя или забывая объяснить, как в выборе этого пути сливаются ответственность человека перед собой и перед обществом.

(25)Выбор пути начинается, когда ребёнок строит свою первую модель, он рисует свой первый рисунок, впивается в одну книгу и отбрасывает другую, когда он первый раз присматривается к тому, что делаете вы и как вы это делаете.

(26)В записной книжке Чехова есть такие строки: «(27)Бездарный учёный, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего хорошего, дав миру десятки таких же бездарных узких учёных, как он сам. (28)Тайно по ночам он переплетает книги — это его истинное призвание...». (29)Горечь этих строк вызвана не одной лишь судьбой человека, ошибившегося в выборе пути. (30)Не горше ли была для Чехова мысль о тех, перед кем этот мнимый учёный представал как деятель науки? (31)Безоговорочно и беспощадно решил Чехов эту тему в образе Серебрякова из пьесы «Дядя Ваня». (32)Чехов сказал о нём: «(33)...Старый сухарь, учёная вобла... ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве».

(34)Нередко человек, выбирая профессию «без любви», выбирает её и «по расчёту».

(35)По расчёту в самом прямом смысле этого слова.

(36)Люди, равнодушные к своему делу, часто оказываются отнюдь не равнодушными к «приданому», которое это дело может принести.

(37)Когда человек не любит свою профессию, за такой «брак без любви» расплачиваются не только он сам, но и его близкие. (38)Человек, берущийся не за свое дело, редко приносит людям пользу, и очень часто — вред.

(По С.Л. Львову)

*** Сергей Львович Львов (1922 – 1981) - русский советский писатель, журналист, литературный критик.**

Проблема: «Как родители должны относиться к увлечениям своих детей?»

23. В обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Серёжку с Лешкой. Они должны были принести из кухни обед. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе, Васька ещё не появлялся, — видно, заигрался где-то с ребятами, я скучал по нем. Ни тёти Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лешка освободил меня сегодня от очередного дежурства и не в очередь пошёл за щами. Рука моя всё-таки давала себя знать, и на работе я ещё ворочал с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечно ровную линию наших контрэскарпов, их трёхметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и залианные закраины, — работа была отличная, мы создавали это и гордились своим трудом.

Всё это было ещё более приятно и потому, что вейсмановская версия подтверждалась и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных нами рубежей. Да, время приходит нашим, самое время!

В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идёт Лешка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна, и он широко улыбнулся и кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки.

Я сказал:

— А Серёжка где?

Лешка мотнул головой:

— Следом идёт.

За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лешке и сказал, улыбаясь:

— Ну, кажется, наши пришли!

Лешка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно, первая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не доходя до нашей избы метров пятнадцать, развернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола её пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага нашего штаба на той стороне взлетели вверх щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверно одновременно с Лешкой, увидели чёрный крест на боку танкетки — такой же мы видели на фюзеляжах самолётов.

Всё это происходило очень быстро и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел

автомат. Мы замерли. Фашист шёл к нам. Навстречу ему бежал через мост Серёжа Любомиров. Он что-то кричал скривлённым набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него, — глаза его ничего не выражали, они были тусклые, задёрнутые плёнкой, как на плавленом олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента.

Серёжка бежал на немца, и, когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое та-та. Немец отступал, пятился, а Серёжка всё бежал на него с лопатой, но я уже видел, что Серёжки нет, что он уже мёртв, что это бежит одна неутомимая Серёжкина ненависть, которая не умирает. Лешка схватил меня за руку и дёрнул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли на землю.

— За огород, — прохрипел Лешка, — под плетень, а там вырвемся.

Я пополз за его сапогами по мокрой, грязной земле, а позади слышались выстрелы; пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли, не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей, они собирались сейчас похлебать горячих щей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнём, а мы с Лешкой всё ползли, проползли под плетень и ещё ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через пятнадцать мы достигли леса. Мы остановились.

Я сказал:

— Откуда, откуда они?

— Десант, верно, — сказал Лешка, — перелетел, гад. Целый месяц строили. А он и воевать не стал... перелетел и высадился. Опоздали наши-то...

Лешка задёргал губами и заплакал.

— Пойдём, Лешка, — я тронул его за плечо, — надо отходить.

Он пошёл за мной покорно, как мальчик, и огромным, грязным своим кулаком утирал глаза. Надо было спастись, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места, — в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами у домика с красным флагом.

Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоём с Лешкой и ревели. Я ковылял впереди, Лешка за мной. Мы шли напрямик через лес примерно с полчаса и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней.

— Что теперь? — сказал я. — Дальше что?

— Кабы знать, куда идти.

— Ищи дорогу, — сказал я, — ищи, Лешка.

— Надо искать, да, — сказал он, — а то заплутаем, как бы в обрат не наскочить...

— Левой надо.

— Верно, и я так помню. Там много дорог должно сходиться, помнишь? Когда сюда шли, я запомнил.

А я ничего не запомнил, я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал:

— Теперь ты иди впереди, Лешка.

Он прошёл мимо меня вперёд, и я побрёл за ним.

(По В.Ю. Драгунскому)

Виктор Юзефович Драгунский (1913 – 1972) – русский советский писатель, автор повестей и рассказов.

Проблема: «Как ковалась победа в Великой Отечественной войне?»